



Стейси Гарсия

Семь шагов навстречу

18+

Стейси Гарсия

Семь шагов навстречу

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=72799172

SelfPub; 2025

Аннотация

Я думала, что соседство с Зейном Эшфордом – просто раздражение. Но между лекциями, ночными прогулками и закатами Санта-Моники он постепенно меняет всё. Он заставляет чувствовать то, чего я боялась, и ломает все мои правила... даже если я не хочу этого признавать.

«Правило №1 – не позволять прошлому определять соседство»

Содержание

Глава 1 – "Непрошенный сосед"	4
Глава 2 – "Правила на деле"	14
Глава 3 – "Свет и тени"	31
Глава 4 – "Шум и тишина"	50
Глава 5 – "Лёд возвращается"	76
Глава 6 – "Игра в нормальность"	98
Глава 7 – "Когда защита становится стеной"	115
Глава 8 – "Среди волн и теней"	132
Конец ознакомительного фрагмента.	144

Стейси Гарсия

Семь шагов навстречу

Глава 1 – "Непрошенный сосед"

Я всегда думала, что переезд – это ритуал взросления: коробки, список дел, пара знакомых фраз с новыми соседями и долгие ночи, когда можно зарыться в учебники и не думать о прошлом. Сегодня утром Санта-Моника пахла кафешками и морской солью, и я пыталась убедить себя, что всё будет именно так – студенческая жизнь, "Сиасайд Университи", маленькая, но моя комната.

Мои вещи умещаются в трёх коробках, сумке с ноутбуком и в блокноте, который я ношу как талисман. Внутри – беспорядочные заметки, фразы для колонок и три аккуратных списка: «расписание», «контакты» и «не пускать в дом тех, кто делает вид, что знает лучше». На среднем пальце блестит тонкое серебряное кольцо – я положила туда палец ещё в пятом классе и с тех пор оно как будто напоминает: «не будь такой доверчивой».

Я стараюсь делать вид, что не замечаю соседних квартир, но лестница до нашей квартиры – узкая, и оттуда доносятся голоса, шорохи, запах перегретой кожи и табака. Я вытаскиваю коробку за коробкой, мысленно вычеркивая мелкие ве-

щи: чашки, подушки, пластинки, которые в итоге замещают друг друга и становятся одним уютным комком.

Когда я втаскиваю последний ящик, в дверях напротив уже стоит фигура, от которой мое сердце делает маленький юркий прыжок, будто напомнила старую неровность на дороге. Высокий, чуть растрёпанный, в кожаной куртке, с рулоном чертёжной бумаги под мышкой и татуировкой, выглядывающей из-под рукава. Он не выглядит как кто-то, кого я хочу видеть в своей жизни – ирония жизни: никогда не хочешь, а получаешь вдвойне.

– Эй, – говорит он, и его голос знаком до костей. – Ты... Ивия Эдисон?

Я замираю на секунду. Имя выскакивает из меня само, как будто кто-то нажал кнопку воспоминаний. Я видела его раньше: в старшей школе, в коридорах, в спортивных свитерах, в том самом месте, где начинались все те рваные сцены, что до сих пор играют в фоновом режиме, когда я слишком устала, чтобы держать их в узде.

– Зейн Эшфорд, – отвечает он, и его лицо расплывается в той же улыбке, что и тогда: чуть самодовольной, чуть усталой. – Ага. Слушай, мы – соседи по ошибке, кажется. Похоже, моя коробка с макетом пролезла только сегодня, а твоя... ну, привет.

Я ставлю коробку и смотрю на него. Высокий, широкоплечий, с руками, которые, похоже, привыкли нести гораздо более весомые вещи, чем мой старый чайник. Он прикрывает

глаза, будто проверяет память, и в словах слышится лёгкая насмешка и столько же неосознанной усталости, как будто университет – это не просто знания, а постоянная игра в выживание.

– Ты помнишь меня? – спрашиваю я, потому что в глубине души мне важно понять, насколько далеко он зашёл тогда. Или не зашёл вовсе.

– Как не помнить, – отзывается он, и его рот складывается в полуулыбку. – Вроде весь класс запомнил тебя. Только вот... – он жмёт плечами, отталкивая тему, – молодость, глупость, всё такое.

Это его «молодость, глупость» – и его голос, и его легкость – что-то во мне сжимается. Я привыкла, что люди легко списывают то, что для меня было не просто «молодость». Но я не собираюсь сейчас устраивать сцену в коридоре, с коробками и скрипящей дверью. У меня есть список правил: не скандалить при незнакомых, не позволять прошлому диктовать сегодняшний план и держать дистанцию.

– Рада знакомству, – говорю я ровно. – Если тебе нужно место для макета, коридор свободен. Я предпочитаю, чтобы у меня было чуть больше порядка, чем у тебя по ту сторону двери.

Он фыркает, и в этом фырканье – знакомое самодовольство. Но затем он наклоняется чуть ближе, чтобы поднять падающую ленту упаковочной бумаги, и рука его касается моей на пару секунд – не интимно, просто факт: он сильнее,

чем я думала. Мгновение, и всё это перестаёт быть маленьким. Я отстраняюсь.

– Я не собираюсь быть твоим кошмаром, – говорит он, будто читая мои мысли. – Хотя, если хочешь, могу починить твои лампы. Умение обращаться с проволокой у меня неплохое, архитектура, знаешь ли.

Я сжимаю губы. Не потому, что мне важно, чтобы он починил лампы (я сама с этим справлюсь), а потому что его предложение звучит одновременно и заботливо, и грубо. Как будто он пытался замазать старую царапину свежей краской.

– Лампы – это мило, – отвечаю я. – Но я больше переживаю за твои чертежи. Не царапай их своим стилем жизни.

Он смеётся – искренне, не насмешливо. И в этот смехе есть признак чего-то настоящего, чего я не могу назвать иначе, чем человеческая мягкость, спрятанная за панцирем. Я не хочу это признавать, но всё ещё потрясена его присутствием. Он – как музыка, которая звучит не вовремя и слишком громко, чтобы её игнорировать.

Мы расставляем коробки по комнатам, делим кухню взглядом, который говорит: «я оставляю за собой полку под мою кружку» – и «не трогай мои законы». В какой-то момент он садится на порог моей комнаты, расправляет рулон чертежей и смотрит на меня так, как будто пытается решить задачу, которую не учат в архитектурных факультетах: как ужиться с человеком, которого был частью твоего прошлого.

– Соседи, – говорит он наконец, и в этом слове мало чего

обещающего. – Но если что, я умею не только шуметь. Умею и молчать. Иногда полезно.

Я почти улыбаюсь, потому что он предлагает то, что мне нужно: тишину. Но скоро пойму, что это не так просто. Потому что жаркие вечера Санта-Моники, университетские коридоры и те самые закаты, о которых все пишут в инстаграмах, полны неожиданностей. И сосед – особенно если он похож на Зейна Эшфорда – не будет простой опцией.

Когда он уходит на свою сторону коридора, оставляя за собой запах кожи и сигарет, я стою у порога и понимаю одну простую вещь: это будет не только игра на терпение. Это будет игра на память. И у меня есть два варианта: либо снова закрыться в себе и ждать, пока время сделает своё, либо попытаться выстроить правила по-новому.

Я беру блокнот, открываю первую страницу и вписываю: *«Правило №1 – не позволять прошлому определять соседство».*

Под этим подпись: «Иви».

Затем закрываю тетрадь и иду ставить чайник – потому что даже если внизу кто-то шумит гитарами и слушает рок, я всё равно хочу иметь крошечный островок мира, где можно дышать. И где я, возможно, буду учиться терпеть и ещё чему-то – чему-то, что я пока не готова назвать.

Я ставлю кружку на полку, пытаюсь не думать о том, как его голос ещё крутится в голове – «не только шуметь. умею и

молчать». Но молчание – это не его стиль надолго. Он оставил после себя запах, рисунок привычек на пороге: сигарета, немного лака для волос, чёрный карандаш для чертежей. Это пахнет жизнью, которая не спрашивает разрешения войти в твой день.

Дверь в мою комнату едва закрыта, и я слышу, как в коридоре что-то шуршит. Через пару минут он снова появляется, глядя как будто на карту: присматривается, где что стоит. Я поднимаю взгляд и ловлю его на том, что он смотрит прямо на меня – холодно, без улыбки.

– Слушай, – говорит он, почти без выражения, – я так понимаю, мы делим кухню, да? Права на полки – отдельная тема. Короче, правила такие: не трогай мои чертежи, не трогай мои инструменты, не трогай мои... вещи. И вообще – не лезь ко мне. Ты мне не нужна. И ты мне не пара.

Слова ударяют аккуратно, почти практично, как острый карандаш по бумаге. Я ожидаю насмешки, но тут не насмешка – жесткая граница. Как будто он расставляет невидимые колышки и втыкает между нами табличку «запрещено».

Я улыбаюсь – с той улыбкой, что уже изучила тысячу форм защиты. Она мало что даёт, но иногда действует лучше чем нож.

– Приятно познакомиться, сосед, – говорю я мягко. – Я обычно сама по себе. Не ищу пары. И вообще у меня аллергия на парные вещи.

Его бровь дергается, он будто хочет отдать ответ, но вме-

сто того делает шаг назад и садится на ступеньку, сложив руки по-особому: так, будто конструкции мира важнее людей. Из-за его позы кажется, что он готовился к этому разговору заранее – и в то же время нет, всё спонтанно, как его жизнь.

– Хорошо, – отвечает он, и это слово звучит холоднее, чем могущество зимнего ветра. – Просто знай: я не буду подстраиваться под чьё-то ожидание. Я сам по себе. Если тебе это мешает – купи беруши и живи дальше. Я не собираюсь притворяться.

Мне хочется рывкнуть. Хочется сказать: «я не просила тебя притворяться. Я просила – не насмехайся». Но я делаю то, что умею лучше всего: беру в руки сарказм и наряжаю им мысль.

– О, как мило. Я всегда мечтала жить с человеком, который ценит одиночество больше, чем базовую вежливость. – Я протягиваю руку, будто здороваюсь, и зажимаю её в кулак. – Только предупреждаю: если ты будешь оставлять пустые пачки от сигарет на моей полке, я буду считать это персональной войной.

Он смотрит на мою руку, как на квитанцию, которую не нужно оплачивать. Потом, неожиданно для меня, он усмехается – коротко, почти уважительно.

– Персональная война, – повторяет он. – Хорошо. Будет забавно.

И вот оно – вспышка того самого «удовольствия», которое, казалось бы, он испытывает от того, что меня задевать.

Мне сложно понять, где искренность, где броня, и где просто игра в недоступность. Может, он просто умеет говорить резкие вещи, чтобы не показать другое. Может, это щит. Может, он всегда так – «не трогай меня» в качестве девиза жизни.

Когда я закрываю дверь, в комнате становится тихо, и мне кажется, что стены шепчут собственные предрассудки: «он – опасный», «он – слишком хорош для тебя», «он – тот, кто не признает, что сделал больно». Я сажусь у окна, смотрю на море: волны бьют спокойно, как будто все эти человеческие фронты – лишь временная рябь на поверхности. Но внутри всё иначе – мои мысли пульсируют, как мотор, который не выключали целую ночь.

Вечером, когда город гасит дневную суету, в коридоре начинается жизнь. Кто-то играет на гитаре, кто-то смеётся, в коридоре ахнет тако и теплым песком. Я готовлю ужин и слышу, как в комнате напротив включают музыку – громкую, с басом, который проходит через стены, через чашки, через меня. Это его: рок, бас, голос, который, казалось бы, нигде не заканчивается.

Я подхожу к двери и стучу – не от злобы, скорее от проверки. Он открывает с лицом, которое говорит «что тебе нужно», и держит в руках кружку, из которой поднимается пар.

– Слушай, – говорю я, – музыка громкая. Не возражаешь, если я попрошу снизить?

Он смотрит на меня минуту, как будто считает ценность просьбы. Затем – такое же спокойное, но жесткое «нет».

– Нет, – отвечает он. – Я не снижу. Это моя квартира. Я плачу за неё так же, как и все. Если тебя раздражает музыка – надень беруши.

Я чувствую, как внутри поднимается тепло. Гнев – старый, но знакомый друг. Мозг подсказывает сто ответов, а сердце – другие, мягкие и нелогичные. Я не хочу выглядеть жалкой, я не хочу поддаваться тем эмоциям, но моя рука сама тянется к блокноту.

– Хорошо, – говорю я медленно. – Тогда я буду ждать, когда ты будешь не в квартире. Или я куплю наушники громче твоей музыки.

Он слегка улыбается, и в этот раз я ловлю в его взгляде не только презрение, но и что-то вроде признания: он знает меня, знает мою жесткость, и ему это не чуждо.

– Делай что хочешь, – говорит он. – Только не думай, что я изменюсь ради тебя. Я не меняюсь.

Я закрываю дверь и сажусь за стол. В блокноте появляется новая строка:

«Правило №2 – не давать ему слишком много власти над своими эмоциями».

Под ней – подпись «Иви», и маленькое сердце, перечёркнутое карандашом. Потому что правду сказать – я чувствую, как он уже владеет частью моего внимания, и это раздражает меня сильнее всего.

Ночь опускается медленно. Музыка звучит там, через стену, иногда стихающая, иногда превращающаяся в рулон

громкого ритма. Я знаю, что завтра – первая лекция, презентация, люди, знакомства. И ещё: я знаю, что жить рядом с ним будет означать каждый день учиться новой форме терпения. Той, что держит тебя на краю, заставляет бояться, но иногда и легонько согревает. Иначе говоря – ненависть только началась.

Глава 2 – "Правила на деле"

Утро в нашей квартире пахнет кофе из дешёвой кофеварки и тёплыми тостами, которые я делаю слишком часто, чтобы это было полезно. Свет пробивается сквозь жалюзи, и Санта-Моника кажется далёкой картинкой – волны, пальмы, всё такое. Внутри – две комнаты, одна гостиная, маленькая кухня и ванная, где мы, похоже, регулярно устраиваем утренние дуэли.

Сегодня я просыпаюсь раньше, потому что всегда так делаю: вычеркиваю пункт из списка «не опоздать на лекцию», проверяю пару писем и выписываю пару строчек в блокнот. На столе лежит тот самый карандаш, который я держу как ритуал: он помогает мне думать, когда я слишком много думаю. Слышу, как в соседней комнате что-то шуршит – Зейн, наверное, ищет свои инструменты или надувает гитарную струну. Басы ночи ещё будто висят в стенах.

Я иду в ванную с наушниками в ушах, переключаюсь на режим «не спрашивать много», потому что правило №2 всё ещё в силе. Но как только приоткрываю дверь ванной, вижу, что полотенце его – на крючке, зубная щётка его – на полке, и в душе кто-то уже стоит. Это он. Волосы еле влажные, взгляд собранный, будто он готовится к бою с градостроительным планом, а не к лекции по архитектурной истории.

– Я иду в корпус через двадцать минут, – произносит он

спокойно, словно делится погодой. – Займёт много времени, если ты хочешь долгую рутину, – добавляет он, и в его голосе проскальзывает та самая броня: «не лезь ко мне», «ты мне не пара».

Я отвечаю ровно, потому что это легче:

– Я на паре в половине девятого. Двадцать минут – это не «много». – И тут же ловлю себя на желании добавить: «и вообще, ты мог бы выключать музыку после полуночи», но уже молчу – глупо начинать утро с ссоры на пустом месте.

Он не отвечает. Его подбородок немного поднят, в губах какой-то стальной прикус. В его лице читается то, что я называю «режимом защиты»: слова короткие, действия чёткие, никаких случайных жестов. Я быстро принимаю душ, и нам самим смешно, как тесно тут всё устроено: я чищу зубы, он кладёт туда руку, поворачивается – и наши локти сталкиваются. Молчат, отстраняются, будто это было и не про необходимость выжить, а про какой-то священный ритуал личного пространства.

Выходя из ванной, замечаю, что он оставил на столе чертеж – большая бумага, покрытая аккуратными линиями и пометками. Он же постучал по ней карандашом, пока я мыла волосы. Это что-то личное, деликатное, и почему-то мне хочется не трогать его. Что-то в этом – чуждое, как чужая книга с закладкой.

– Не трогай мои вещи, – говорит он, как запись на двери. – Особенно чертежи.

– Я знаю правила, – отвечаю я, и в голосе слышится не столько раздражение, сколько усталость. – Твои правила – ты их сам и пишешь. Мои правила – я их тоже пишу. – Я показываю ему блокнот, где уже видна запись: **«Правило №2 – не давать ему слишком много власти над своими эмоциями»**.

Он усмехается краешком рта.

– Ты прямо маленький полковник с планами, – говорит он и, кажется, в этом чуть больше любопытства, чем презрения.

Я не выношу, когда он видит во мне меньше, чем я сама. И, как всегда, мой сарказм – первая и лучшая форма ответа.

– Зейн Эшфорд, – говорю я, – архитектор, мастер молчания и творец правил. – Я склоняюсь так, будто произношу его титул.

Он смотрит на меня и на минуту в его взгляде мелькает что-то, что нельзя назвать теплом. Скорее – пульсирующая линия интереса, которая тут же уходит. Может, это вообще не про меня, а про задание, которое он только что вспомнил.

Утро гонит нас на пары. Мы выходим почти одновременно, обмениваемся парой выученных фраз: «не трогай мои вещи» – от него и «я тебя не пощажу» – от меня. На лестнице встречаем всех этих шумных студентов, которые делают вид, что университет – это праздник и вечное лето. А я – Иви – делаю вид, что мне тоже всё это нравится.

День проходит в лекциях и записных книжках. Я слушаю профессора, который говорит о структурах и нарративах.

Журналистика учит меня замечать, фиксировать, не попадать под собственные эмоции – но как же легко смотреть на людей и придумывать про них истории? Я записываю, что вижу: Зейн на лекции по архитектуре сидит, будто скульптура, руки сложены, карандаш стучит по краю бумаги. Он не смешной, и в этом моя тайная проблема: он умеет быть серьёзным и обаятельным одновременно, чего я вообще не переношу.

Вечером мы снова встречаемся дома. Квартира пахнет ужином: кто-то готовит лапшу, кто-то – тухлыми надеждами студенческой независимости. Я ставлю чайник, и в голову лезут мысли о том, что я снова позволила кому-то занять часть моего пространства. С другой стороны – не дать ему ни единого шанса на ошибку – тоже утомительно.

Происходит мелочь: у меня падает банка с орехами, крышка раскатывается, и шуршащий звук орехов – это мой личный маленький апокалипсис. Я пытаюсь поймать банку руками, и в этот момент Зейн – тот самый, который делал вид, что не заботится – вдруг наклоняется и ловит банку раньше меня. Его рука лёгкая и уверенная. Он возвращает мне банку, не делая вид, что это что-то особенное, просто ставит её на стол.

– Спасибо, – выдыхаю я, потому что это вежливо. Но в моём теле что-то дрогнуло: сила его руки была реальна, и в ней – практичность. Не спасение, не рыцарство, просто умение делать дела.

Он кивает, не поднимая глаз.

– Не делай из этого роман, – говорит он и уходит в свою комнату, будто закрывая сцену.

Я открываю блокнот и пишу:

«Правило №3 – не поддаваться на случайную доброту».

Подпись: Иви. Под ней – маленький знак вопроса, потому что, честно сказать, я уже не уверена, кому из нас больше не нужна эта игра в «не трогай».

Ночь опускается, и музыка в его комнате начинает играть тише – он, кажется, понимает, что громкость – это тоже часть дипломатии. Я остаюсь на кухне, смотрю в окно на улицу: свет фонарей рисует на песке полосы. В соседних окнах видны чужие жизни: кто-то смеётся, кто-то плачет, кто-то просто смотрит в телефон.

Я делаю чай, беру блокнот и записываю ещё одно правило – не потому, что хочу, а потому, что мне так легче дышать:

«Правило №4 – не давать страху диктовать дружбу».

Под ним – короткая строчка: **«Пока не доверяй. Но смотри внимательно».**

Зейн проходит мимо кухни, не останавливаясь. Он бросает через плечо:

– Не жди от меня слишком много. – И тут же слышу, как в его голосе – не сталь, а усталость.

Я смотрю ему вслед и понимаю, что ненависть – это смешанная эмоция. В ней и укор, и ожидание, и... что-то ещё,

что пока не имеет имени. Мы живём в одной квартире, и это значит, что нам придётся выучить немало новых правил – и возможно, одно из них станет самым трудным: правило отпустить прошлое, чтобы посмотреть, что будет, когда стены станут тоньше.

Лекцию ведёт профессор с голосом, который мог бы быть саундтреком к падению дождя: монотонно, с небольшими вкраплениями сарказма для поддержания дисциплины. Я листаю блокнот, делаю пометки, которые выглядят аккуратнее, чем мои мысли, и замечаю, как луч света от окна рисует на страницах полосы. Последняя пара – это всегда проверка на выносливость: мозг устал, а тело требует свободы. Я держу на коленях карандаш, которым рисую маленькие сцепления слов: «сюжет – люди», «вопросы – ответы», «не путать жалость с интересом».

Вдруг рядом с моей парой появляется голос – яркий, как стакан лимонада на жарком пляже. Он не кричит, не просит одолжить тетрадь, но его присутствие требует внимания.

– Привет, можно? – спрашивает девушка и ставит на стол две крошечные коробочки с печеньем. – Я заметила твой блокнот. Он выглядит так, будто там хранятся все важные вещи мира. Меня зовут Ная.

Её голос и манера – смесь уверенности и беспокойной доброжелательности. Она садится без спроса, как будто у неё есть полный патент на эту аудиторию. У Наи – короткие тём-

ные волосы, которые она заколола хаотично, как будто специально, чтобы случайно выглядеть небрежно. На пальцах – пара разноцветных колец, а взгляд – такое редкое сочетание энергии и умения слушать.

Я на секунду замешкалась, потом улыбаюсь – автоматически, потому что быть вежливой выгоднее, чем морщиться.

– Ная, давай – говорю, показывая место рядом.

Она шевелит бровью, открывает одну из коробочек и протягивает мне печенье.

– Для тех, кто выживает последние пары. – Серьёзно, но с тоном, который говорит: «я знаю, что ты боишься, но вот сахар».

Я не знаю, откуда у неё эта смелость, но она действует как приправа. Мысль о том, чтобы остаться в одиночестве после пары, исчезает из списка приоритетов и заменяется на лёгкую интригу: кто эта Ная и почему ей так хочется быть моей новой знакомой?

– Спасибо, – говорю я. – Я Иви.

– Я видела пару твоих колонок в университетской газете, – добавляет она, как будто это объясняет её смелость. – Ты пишешь так, что я чувствую себя виноватой даже за то, что когда-то забывала сдавать рефераты вовремя.

Это – комплимент и вызов одновременно. Я ставлю чашку на стол и понимаю, что хочу узнать о ней больше. Ная быстро рассказывает, что учится на кинематографе, но любит журналистику за то, что она реальна; что её лучший друг

– тот самый Джеймс, с которым мы обязательно должны познакомиться; и что она обожает кофе с корицей больше, чем положено.

Лекция кончается; люди расходятся, кто-то обсуждает задание, кто-то – дату экзамена. Ная встаёт и предлагает сходиться в ближайшую кофейню на углу – та, где кофе смешивает запахи эспрессо и океана, а пол всегда усыпан песком, принесённым с пляжа кем-то нерадивым. Я соглашаюсь почти без раздумий – потому что иногда новые знакомства спасают день лучше, чем сон.

Кафе пахнет корицей и старой бумагой – идеальное место для разговоров. Ная волшебным образом владеет пространством: она ведёт нас к столу у окна. За столом уже сидит парень – и я чувствую, как мир делает легкий крен.

Он встаёт, чтобы поздороваться: рост выше среднего, лицо солнечно-выгоревшее, волосы мягко растрёпаны, улыбка – открытая и честная. Глаза – тёмно-карие, такие, в которых хочется искать ответы, но боишься их найти. На нём простая футболка и джинсы, и видно, что он не старается быть кем-то – он просто есть. Это Джеймс.

– Иви? – спрашивает он, и его голос – как бархат, только что расправленный после долгой стирки. – Ная написала о тебе. Рад знакомству.

Я тянусь рукой вести лёгкое рукопожатие, но на секунду зависаю: всё во мне оценивает ситуацию – и немного начинает заглядывать любопытство. Его ладонь тёплая, сама жёст-

кая так, как будто привыкла к работе руками и к музыкальным инструментам одновременно.

– Приятно, – отвечаю, и звук слова выходит ровным, аккуратно собранным.

Он улыбается шире, эта улыбка не демонстративная, она естественная, как солнце в полдень.

– Я Джеймс. – Он указывает на стул напротив себя. – Присаживайся. Либо мы все втроём будем притворяться, что только кофе спасёт мир, либо позволим реальному разговору сделать это вместо нас.

Ная подкалывает его:

– Джеймс, не зарывайся. Я сказала Иви, что ты не опасен. Главное – если он захочет сыграть, знай: у него есть губы для смеха и голос для песен, но он всегда оставляет половину души в тетрадях с текстами.

– В основном я оставляю там обещания, – говорит Джеймс и бросает на меня взгляд, в котором слышится искренний интерес. – Что ты пишешь, Иви? Расследования? Романы? Сплетни?

Я немного смущаюсь – не от его вопроса, а потому что он спрашивает так, будто действительно хочет услышать ответ. Это непривычно. Обычно люди смотрят на меня отчасти как на разделяющую – «журналист vs персонажи», отчасти как на того, кто может разоблачить. А у Джеймса глазки не ищут уязвимости, они просто слушают.

– Я пишу о людях, – отвечаю честно. – О том, как они

прячутся и как их можно поймать на маленьких честных жестках. – Я чувствую, как слова выстраиваются сами: это проще, чем придумывать защиту.

– Звучит заманчиво, – кивает он. – Могу предложить тест-драйв: помогу тебе поймать человека на честном жесте – если он согласится, конечно.

– А кто этот человек? – спрашиваю, ожидая шутки.

Он указывает на Ная с улыбкой.

– Она – проверяемая единица. – И потом, с легкой усмешкой: – А если хочешь, можем поймать тебя – на том, что ты ешь печенье втайне от самой себя.

Я смеюсь – коротко, по-настоящему, потому что его поддразнивание лёгкое и не ядовитое. Ная хлопает в ладоши, как будто тут же выиграла в лотерею.

Мы говорим о простых вещах: о курсах, о том, как Ная снимает короткометражки, о том, что Джеймс работает баристой в этой же кофейне по вечерам и иногда играет на вечеринках, о детских мечтах превратить город в кино. Чем дольше я слушаю, тем больше понимаю, что эти двое – как два разных аккорда: один тёплый и мягкий, другой – яркий и дерзкий, но вместе они создают мелодию, которую хочется слушать.

Когда мы встаём прощаться, Ная хватает мою руку и шепчет:

– Держись рядом. Мы любим людей, которые умеют писать, особенно тех, кто делает это честно.

А Джеймс добавляет, кивая:

– Если что, у нас вечеринка у пляжа в субботу. Приходи.

Мы не кусаем.

Я смотрю на их лица – на их откровенную лёгкость – и в душе где-то чуть греется мысль, что, возможно, у этого города есть свои способы спасти людей. Даже тех, кто предпочитает жить по правилам и не доверять новым соседям, которые пахнут гитарой, кожей и сигаретой.

На выходе я ловлю себя на том, что держу в руках не только стакан с остывшим кофе, но и маленькую надежду: кто-то, кажется, уже начал расшатывать мои «Правило №2» и «Правило №3», не ухом – а тонкой, почти неощутимой добротой. И это пугает не меньше, чем приятно.

Я возвращаюсь домой в тот момент, когда Санта-Моника будто бы дышит глубже: солнце уже почти спряталось за горизонтом, воздух прохладнее, а на улицах стали мелькать лампы. В сумке – пустой стакан от кофе и лёгкое ощущение чужой доброты, которое ещё не успело стать привычкой. Надеюсь, что в квартире будет теплее, чем обещает коридор.

Дверь открывается, и на кухне – полумрак. Лампа в гостиной не включена; в кухонной нише рядом с раковиной – одна слабая лампочка, от неё отбрасываются длинные тени на плитку. Зейн сидит за столом с согнутой спиной, перед ним – развёрнутый чертёж, кружки с недопитым кофе и пара оторванных листов, усеянных его аккуратными линиями и

пометками. Он не замечает меня сразу. Его профиль – острый, как карандаш, которым он лепит свои перспективы, и сейчас в этом профиле – усталость, которую не скрыть маской «не трогай меня».

Запах – кожа и что-то сладковато-горькое, как сигарета, и соль с океана, которая прилипла к куртке. Я ставлю сумку на крыло стула, пытаюсь тихо расставить вещи, чтобы не выглядеть вторгающейся.

– Ты дома, – произносит он без взгляда. Слова ровные, короткие, словно щёлчок выключателя.

– Да, – отвечаю. – У нас были планы: кофе, печенье, и попытка не заблокировать телефон с экзаменами до конца семестра. – Я говорю это так же легко, как будто перечисляю ингредиенты для салата; таким образом я маскирую, что мне было приятно.

Он не отрывает глаза от бумаги. Только теперь я замечаю, как его плечи дрожат чуть чаще, как будто за линиями скрывается ещё и температура. Его рука сжимает карандаш до хруста.

– Музыка вчера была громкая, – выдыхает он внезапно. Слова – как бросок ледяной воды. – Я просил тишины.

Я моргаю. Я слышала музыку – да, в тот вечер басы были близки к тому, чтобы пройти сквозь стены – но я ожидала, что его комментарий будет сопутствовать что-то более элегантно, чем эта пуста-виноватость. Его «я просил» звучит отчуждённо, как будто он говорит не только о звуке, а о пра-

ве быть хозяином моего пространства.

– Прости, – говорю автоматически, хотя в груди закипает неудовольствие. – Но я не устраивала у нас вечеринку.

Он наконец отводит взгляд и смотрит на меня. В этом взгляде – скорее не раздражение, а камень, который он метнул в сторону, чтобы посмотреть, как я отреагирую.

– Это не про время, – роняет он. – Это про то, как ты ведёшь себя. Как будто всем вокруг нужно знать, что у тебя есть друзья, что ты не одна. – Его голос становится холодным, словно стекло в окне. – Я не хочу смотреть, как ты относишься ко всем этим – как к временным феноменам. Мне не нужна сцена.

Я делаю шаг к холодильнику, открываю его, чтобы взять воду, и понимаю, что он нацелился не на кофе и не на музыку. Он целится на меня, на то, как я позволяю миру входить в мою жизнь. В груди – старый автоматический импульс: обороняться. Я беру бутылку и чувствую, как пальцы дрожат чуть меньше от холода, чем от слова «сцена».

– Поняла, – говорю медленно. – Я не устраиваю спектаклей. Мне просто хочется... нормальности. Друзья – это нормально.

Он смеётся без юмора, коротко и сухо.

– Нормальность – это то, что можно купить в магазине. Не нужно выкладывать её на показ, Иви. – Эти слова режут, потому что в них – будто обобщение всего, что он считает фальшивым.

– Ты говоришь о «показе», а сам прямо сейчас демонстрируешь охранную архитектуру: ограда, рвы, таблички с надписью «не входить», – отпускаю я, позволяя сарказму выступить на защиту, потому что иначе он меня разрежет. – Это немного смешно, если не трагично.

Он резко тарелку рукой, удивляет меня резкостью:

– Смешно? Ты думаешь, у меня всё ради забавы? – Его лицо вдруг искажает не то чтобы злость, а смешение усталости и стыда. – У меня дедлайн, Иви. У меня завтра защита, и я должен уложиться. Я не хочу, чтобы в моей квартире был цирк.

И тут – ирония: он защищает свою «тишу» не ради одиночества, а ради чего-то, что ему дорого. Это его профессиональная святая причина, и она никак не совпадает с моим прошлым, где «тишина» означала совсем другое – одиночество, заброшенность, страх. И в этом несовпадении растёт трясина.

– Понимаю, – говорю и в этом «понимаю» – скорее признание того, что каждая наша борьба теперь идёт не только за право включать музыку. – У твоих макетов указанные сроки, у меня – статьи. У нас обоих – свои ритуалы.

Он смотрит на меня, и в его глазах мелькает что-то вроде испуга – не от меня, а от того, что между нами есть реальный шанс взаимоповреждения. В один момент он тихо говорит:

– Я не хочу, чтобы ты думала, будто я не ценю людей. Я просто... не люблю, когда моё личное пространство превра-

щается в арену.

– Это твоя квартира тоже, – отвечаю. – Но мы живём вместе. Это не о тебе или обо мне, это о нас, – на секунду я позволяю себе говорить серьёзно, без шпилек. – И если ты хочешь, чтобы здесь было тихо ради защиты макетов – скажи. Я помогу. Но не говори, что у меня «сцена», когда я просто живу.

Он застывает, и в тишине слышно, как где-то в коридоре пищит чей-то телефон. Он поднимается, ходит кругами у стола, как будто расставляет невидимые вещи. Наконец, не сразу – потому что он далеко не человек, который легко сдаёт позиции – он медленно опускается обратно и произносит:

– Я не хочу быть тем, кто говорит тебе, где и с кем тебе быть. Но я не готов выглядеть... смазанно. Не хочу, чтобы мои вещи, мои шумы, моё одиночество, моё «я» терялось в театре чужих жизней.

«Смазано в театре чужих жизней» – звучит театрально, и в этом есть правда: он реально боится раствориться в шуме, потому что, возможно, так раньше он потерял себя. Я знаю это не потому что он сказал, а потому что читаю людей. И вот тут – искра, которую я не могу не заметить: он терпит одиночество, так же как я его боюсь.

– Тогда договариваться? – спрашиваю тихо. – Ты хочешь тишины в ночи. Я хочу друзей. Я не собираюсь устраивать у нас сцены. Но я не откажусь от людей просто потому, что тебе так удобней.

Он сжимает подбородок, и его речь становится плотной:

– Хорошо. Ты берёшь на себя вечерние шумы до десяти.

Я прошу тишины после только до пяти утра. Ты не устраиваешь у нас тусовок. Я не буду контролировать твоих друзей. Но если ты будешь... выкладывать их сюда как доказательство, что жизнь у тебя «удалась» – я уйду в свою комнату и останусь там до тех пор, пока мне не надоест.

Я вздыхаю. У нас растут правила, будто быт – это дипломатия. Я чувствую, как обычное раздражение превращается в усталое понимание. Мы совершаем обмены: тишина на ночи против света на днём. Это компромисс, который пахнет старыми договорами.

– Договорились, – говорю я и в этот раз не улыбаюсь. – Только одно: никаких табличек в коридоре «Не входить». Я не для музея пришла.

Он усмехается, и в этой усмешке нет полного согласия, но есть какая-то усталость, принуждение к смягчению.

– Никаких табличек, – соглашается он. – И... – он делает паузу, и я чувствую, что сейчас он собирается добавить что-то важное, – если что, говори. Не уходи в себя, чтобы не трястись потом.

Я прикусываю губу. Его слова несут искреннюю заботу, завернутую в железную броню. Я не буду благодарить, потому что знаю цену признания: он не скажет «извини» громко, но он показал, что умеет договариваться.

Когда он возвращается к чертежам, я слышу, как он тихо

бормочет под нос:

– Иви... – и будто бы собирается добавить что-то ещё, но передумал. Я ставлю рядом блокнот и, не говоря ни слова, записываю:

«Правило №5 – договариваться, даже если это больно».

Под ним – подпись: Иви. И ещё маленькая пометка: иногда быть гибкой – это не предать себя.

И когда я закрываю тетрадь, квартира снова наполняется бумажным шелестом чертежей и тихим перезвоном моих мыслей. Мы договорились, но договорённости – тонкая ткань. Их можно носить долго, а можно сразу проткнуть иголкой старых ран. Я понимаю, что эта ночь – всего лишь первый стык в длинной шве, который нам предстоит шить.

Глава 3 – "Свет и тени"

Утро в Санта-Монике всегда как будто под серию фильтров: свет мягкий, воздух чуть сладковатый от океана, и даже пробки на парковке кажутся чуть терпимее. Я шла через стоянку к корпусам, отвечая Нае на сообщение – она писала что-то в духе «у меня сегодня съемки, приходи в кофейню после пары», и я, не глядя, печатала короткий «ок» и уже мысленно планировала, какое печенье взять, когда – бам – врезаюсь в кого-то плечом.

Телефон летит из моих рук, я инстинктивно вытягиваю руку, пытаюсь поймать его. Вместо телефона – тёплая ладонь, которая ловко перехватывает корпус телефона и одновременно мою руку, как будто это был не случай, а заранее отрепетированный трюк. Я поднимаю взгляд.

Он выше, чем я представляла, но не страшно – скорее привлекательно так, что забываешь, куда шла. Тёмно-русые волосы, которые будто бы уложены ветром, а не расческой; тёплые карие глаза, которые рассмеялись вместе с его губами. У него на плече – рюкзак, в руках – блокнот, и на футболке – следы от кофе или от жизни, не знаю. Он улыбается так, будто это нормальная реакция на то, что тебя только что чуть не сбили с ног.

– Эй, – говорит он, – прости, я совсем не смотрел по сторонам. Ты в порядке?

Я моргаю, потому что в голове нет готового ответа на «ты в порядке?» когда ты только что почти уронил телефон в асфальт и встретил внешность, которую случайно запоминаешь. Отвечаю механически:

– В порядке. Ты тоже?

Он оттягивает руку, возвращая мне телефон, и изучает меня полуулыбкой, будто читает обложку книги.

– Да, – протягивает мне руку. — Приятно встретить человека, который умеет так эффектно проверять качество асфальта.

Я почти фыркаю от собственной гордости, что смогла-таки не упасть и не выдать драму. Беру его руку и пожимаю. Его ладонь тёплая, чуть шершавая – сразу становится понятно, что он не ботаник-чистюля, а тот, кто работает руками: музыка, кафе, жизнь.

Он делает малюсенький поклон, и в этом движении есть театральность, но без показной нарочитости.

– Иви, – повторяет он, – твоё имя как у героини. Мне нравится.

Я краснею, потому что обычно люди не сравнивают мои имена с героями. Внутри щекочет неожиданная радость – маленькая побеждённая стена, которая дала трещину. Джеймс же улыбается так, будто видит дырку в моей броне и намерен её заклеить не клейкой лентой, а смыслом.

– Ты отвечала Нае? – спрашивает он, и в голосе слышится лёгкий интерес. – Она писала, что сегодня будет в кофейне

у кампуса. Я думал зайти на пару минут.

Я моргаю – Ная действительно писала. Я была намерена пойти вечером, но сейчас это оказалось неважным.

– Да, – говорю, – она написала. Я только что ответила.

Он наклоняется чуть ближе, так, что между нами пахнет утренним воздухом, кофе и его дезодорантом.

– Тогда, – говорит он с улыбкой, – если ты не против, можем устроить мини-кофе прямо сейчас. Я знаю одно место на углу: там делают корицу лучше, чем у бабушки, – и он подмигивает, словно делая предложение, от которого трудно отказаться.

Я хочу проявить стальную независимость, вспомнить все правила – №2, №3 – и показать, что мне не нужны импровизированные свидания на парковках. Но его голос мягкий, без давления; и в голове всплывает мысль, что иногда полезно позволить себе не соблюдать правила.

– Может быть потом, – говорю я, и в голосе – ровность, которую оттачиваешь годами. – У меня пара через двадцать минут.

Он делает вид, что расстроен, но в глазах играет шутливое «я возвращусь».

– Тогда я подожду, – говорит он, – или, если хочешь, могу сопровождать тебя до корпуса и защищать от падения телефонов. Кажется, сегодня ты на грани спасения.

Я невольно улыбаюсь. Его лёгкий флирт – как утренний шорох пальм: приятный, ненавязчивый. Он не давит, он

предлагает.

В этот момент по парковке идёт кто-то, кто превращает момент в катастрофу для моего самоконтроля: Зейн. Он проходит мимо, не глядя на нас, в наушниках, и фыркает – коротко, будто бы это смех, а не звук. Фыркает так, будто мы – маленькие мыльные пузырьки, мешающие его устойчивому миру. Я чувствую, как в груди защемляет. Где-то в уголке головы щёлкает запись: «он – мой сосед».

Джеймс замечает его. Он отрывается от меня и, с легкой любопытной ухмылкой, спрашивает:

– Кто это был? Ты его знаешь?

Я почти не думаю и отвечаю резковато – тихо, но так, чтобы Зейн услышал, если захочет: – Никто. Просто прохожий.

Слова выходят автоматически – отголосок старой привычки: не давать никому повод лезть глубже, не признавать значимости чужих фигур. Я вижу, как Зейн чуть оборачивается – едва заметно, но оборачивается. Его профиль возвращается в мой взгляд, и в его лице – то самое «я не пара тебе» выражение, только более сжатое, как пружина. Он не задерживается, уходит дальше, но звук его фыркания остаётся в воздухе.

Джеймс вглядывается в меня, и видно, что он заметил напряжение, но не стал давить. Вместо этого он шутит, чтобы разрядить воздух:

– Никто – лучшая загадка. Я люблю тайны. Но если «никто» умеет красиво ронять телефоны, я хочу узнать его по-

ближе.

Я, прижимая телефон к боку, чувствую, как в груди что-то тает и тут же замерзает на уровне «что будет, если этот «никто» вернётся к нам в дом?». Джеймс продолжает говорить легко, его слова ироничные, но добрые – и в них нет места для нападок. Он интересуется моим блокнотом, просит показать пару записей. Я отказываюсь сначала, потому что это интимно, но потом показываю одну строчку – название статьи, мелкий набросок – и он кивает, как будто понял.

– Ты пишешь о людях, – говорит он. – Интересно. Я играю и пою о людях. Надо будет как-нибудь обменяться: ты – истории, я – аккорды.

Я смеюсь – тихо и невзначай, потому что это предложение звучит скидкой на мир: обмен услугами, обмен вниманием. Ная в это время приходит к нам, махая рукой, и Джеймс кивает ей в знак приветствия. Она обнимает меня как старую подругу и тут же с дружеским напором говорит:

– Иви, смотри, я говорила же, что у тебя классный день! Джеймс – мой лучший друг, и если он предлагает тебе кофе в обмен на историю – бери. Он хороший человек.

Джеймс улыбается, и в его улыбке – приглашение, лёгкое и настоящее. Я соглашаюсь пойти после пары, обещаю Нае улыбнуться и уже в мыслях формулирую вопрос, который, наверное, буду задавать ему позже: как можно быть таким добрым просто так?

Когда мы расходились, Джеймс проводил меня взглядом,

который говорил: «до встречи» – и это было в большей степени обещание, чем угроза. Я чувствую, как на душе становится легче: у меня есть тёплое утро, новый знакомый, который не устраивает драмы, и Ная – мотор этой маленькой дружбы.

Но в тени парковки осталось эхо: фыркающее «что-то», которое могло значить как ничего, так и всё. Я повторяю про себя «никто», хотя знаю, что это неправда. Зейн услышал. Я это чувствую по тому, как его плечи, когда он проходил мимо, сжались на мгновение – как будто он положил пазл на полку и запомнил форму. И я понимаю, что это «никто» рано или поздно станет «кто-то», с кем придётся иметь дело – не в тексте, не на бумаге, а в комнате, где мы делим один кухонный стол и одну ванную.

Кафе на углу кампуса было именно таким, каким я любила их представлять в своих колонках – немного неловким, с притянутыми к стенам старыми плакатами и лампочками в гирляндах, которые кто-то обязательно забывал выключить. Пол там всегда хрустел от песка – студенты приносили его с пляжа так регулярно, что хозяин бара лениво махал рукой и говорил: «Это добавляет атмосферы». Воздух пах корицей, горячим молоком и чем-то ещё – старой бумагой газеты, которой обкладывали тарелки с печеньем. В такие места приходилось специально, чтобы услышать, как разговаривают люди, и поймать пару фраз, достойных заголовка.

Я зашла, еще держа в руке книжечку с лекциями, и увидела их сразу: Ная махала рукой у столика у окна, а Джеймс рассказывал что-то, раскладывая жестами слова как ноты. Кофе у него в одной руке, блокнот – в другой. Он выглядел человеком, у которого в сумке всегда есть гитара, даже если её там физически нет.

Ная заметила меня раньше, чем я прошла и успела снять куртку, и её лицо стало таким светлым, как будто кто-то заметил, что в мире опять зажглась лампочка.

– Иви! – она подпрыгнула со стула, и звуковая волна её голоса наполнила уголок, где сидели. – Ты пришла! Садись, я за тебя уже заказала корицу, потому что у меня шестая. И у нас есть Джеймс!

– Привет, – сказала я, опуская рюкзак на стул. Внутри всё еще жгло лёгкое напряжение после утренней встречи на стоянке, но вместо обострённой бдительности я почувствовала что-то другое: тепло. Оно, возможно, от корицы, возможно, от того, что Ная умеет создавать тепло как умелый повар – щепотка здесь, ещё щепотка там.

Джеймс встал, как положено, и пожал мне руку так, словно проверял, не отлипнет ли молоко с моих пальцев.

– Иви. – сказал он, и в его голосе было ровно столько восхищения, сколько нужно, чтобы не быть назойливым.

Он усмехнулся и сел обратно. Заказ нам принесли быстро: там был стакан густого кофе с корицей, пирожное, которое пахло как детство, и чашки, которые держали тепло,

будто это была мелкая насмешка природы: пить медленно. Мы разговорились легко, как будто у нас уже было несколько тайных соглашений – ты не спрашиваешь о моей детской травме, я не задаю тебе вопросов о прошлом, потому что доверие обреталось не словами, а улыбками и моментами нахождения рядом.

Ная рассказывала про свою короткометражку:

– Это будет про улицы Санта-Моники, про людей, которые проходят мимо друг друга и не замечают, что весь мир – это набор взаимных перекрестков. Я хочу, чтобы это было тепло, но с оттенком тревожности». – она помахала руками, добавила – И, конечно, нужна журналистская хроника – и посмотрела на меня именно с тем выражением, которое говорило: «Ты в деле».

– Я не против, – сказала я, и в словах – нет протокола, только искреннее «да», потому что я действительно хочу что-то делать, что-то, что не будет просто опубликовано в университетской газете и забыто. Я хочу, чтобы это было правдой.

Джеймс кивнул и перевёл взгляд на меня с интересом, который согревал лучше, чем корица.

– Ты пишешь о людях, – сказал он. – Это редкое ремесло – писать не про события, а про то, что между ними. У тебя, по-моему, это получается.

Я хотела ответить так, чтобы не звучать хвастливо, но и не совсем как фуфловая лампочка.

– Я пытаюсь не писать о том, что было, а о том, что есть. Иногда это кажется более важным, чем выяснить, кто был первым.

Он усмехнулся, играя пальцами по чашке, и в этот звук вкралась его лёгкая шутка.

– Значит, у нас обмен: я даю музыку, ты – историю. Вместе мы продаём идею о том, что люди не просто лица в толпе.

– Сделка, – сказал я, и мне понравилось, как слово упало между нами – не громко, но конкретно. Мы обмениваемся: я отдаю ему кусочек наблюдения, он – аккорд, и это звучит почти как обещание.

Флирт у Джеймса был тонким, как штрих карандаша: он не брал меня в оборот, он подводил, аккуратно примерял фразы, проверял реакцию. Иногда такие люди готовы приклониться к тебе словом и посмотреть, не рухнешь ли. Я не рухнула – но и не осталась неподвижной. Было приятно, даже безопасно.

– Ты закончила школу в городе? – поинтересовался он вдруг, и я представила себе, как он складывает прошлое людей, как ноты на парте.

– Да, – ответила я. – Небольшой город, где все знали друг друга в лицо. Иногда знание – это не подарок. Это как ожидание – будто всем всегда известно, какой ты спектакль. – Я улыбнулась, потому что в этом была и ирония, и правда. – А ты?

– Я – человек, который искал гитару там, где оставляли

тени, – отозвался он по-поэтичному и тут же добавил: – Вроде бы я родился в Лос-Анджелесе, а вырос там, где море не так видно за пальмами. Но я больше о людях, чем о координатах. – Он смотрел на меня легко, и в его голосе что-то зацепилось за мою стену подозрительности.

Потом разговор плавно повернул к университету, к тому, как мы оба ненавидим одного и того же преподавателя по теории медиа, и к тому, что Ная, конечно, опаздывает на свою съёмку (она сделала глаза, как будто это самая важная вещь в мире), и да – у неё в голове миллион идей, которые как ветки, расползаются по столам.

Я слушала, смеялась, иногда поддавала свой сарказм, и чувствовала, как внутри что-то меняется: мир вокруг не такой уж и маленький, и люди в нём не такие предсказуемые.

Мы обсуждали план: Ная хочет, чтобы я написала небольшой очерк, Джеймс предложил саундтрек – он, кажется, умеет делать это из ничего, а я – из обычных деталей. Мы договорились встретиться вечером, чтобы обсудить концепцию. Я чувствовала себя вовлечённой и радостной; это был тот редкий случай, когда работа и дружба смешивались в приятное тесто.

И в этот момент кто-то за столиком встал и подошёл к нам быстро – так быстро, что я сначала подумала, что это новый официант. Но это был не официант. Это был Зейн.

Он подошёл будто без усилия, с тем самым равнодушным выражением, которое ему так легко давалось: «мне всё рав-

но», «не мешай моему существованию». Но сегодня в его походке было что-то другое – не только нарочитая холодность, а сжатая внимательность.

Он оглядел стол, на котором мы сидели, на меня, на Джеймса, и глаза его задержались на корице, на пирожном, на моём блокноте. Я ощутила, как сердце – это странное животное – сжалось. Я не помню, чтобы хотела убежать, но почувствовала необходимость подсчитать шаги назад и вперёд. Внутри меня сработал релейный сигнал: «не показывать много».

Он наклонился ко мне, тихо, как бы между нами и воздухом, и сказал ровным, почти бытовым тоном, что меня сначала ошарашил своими словами:

– Ты забыла выключить свет. Больше так не делай.

Это была не претензия к музыке и не обвинение в том, что я устроила вечеринку. Это было простое, бытовое: дом – техника – ответственность. И одновременно – как будто он закрыл дверцу шкафа, в который спрятаны не только лампы, но и все наши договорённости. Его голос не поднимался, он не притворялся героем, он просто сделал ремарку и отвернулся, чтобы уйти.

У Наи и Джеймса на лицах сначала было недоумение – как будто в их сценарии сцена выглядела иначе. Ная развернулась, глаза её сверкнули любопытством и раздражением.

– Что-что? – спросила она, будто просила пересказать услышанное.

– Он сказал, что я забыла выключить свет, – ответила я, стараясь держаться ровно.

Слова сами выскользнули, как пластинка, которую кто-то поставил и сделал царапину, и я поняла, что меня сейчас слушает не только тот стол, но и весь мир в немом режиме.

Джеймс наклонился вперёд, сложил локти на стол, и его лицо стало смешно серьёзным.

– Кто он тебе? – спросил он, с той бесхитростной прямо-той, что присуща людям, которые в первых двух фразах решают, надо ли защищать нового знакомого.

Я почувствовала, как внутри меня вспыхнуло что-то вроде стыда и старой обиды – странного коктейля, который не желаешь ни с кем делить. Я хотела опять сказать «никто», хотела закрыть этот ящик, который давно заперт, но Ная и Джеймс смотрели так, будто такие ответы их не устраивают.

– Он сосед, – выдавила я, и это слово выглядело неубедительно, и я сама слышала это. – Просто сосед. Мы живём в одной квартире, но отдельно. – Перевела дыхание. – Всё нормально.

Ная покраснела от озорства и хлопнула ладонью по столу.
– «Просто сосед» – это мой новый любимый жанр. Ты должна рассказать мне всю драму. – она уже начала придумывать опереточные сценки в уме, а это значит, что скоро она будет действовать – а у Наи были гениальные способы действовать.

Джеймс же улыбнулся – не издевательски, а по-защитно-

му.

– Если он сказал про свет, значит заботится о бытовых мелочах. Это плюс, – произнёс он философски. – Люди, которые замечают, что выключен свет, бывают полезными. Но скажи честно – он строг? Суровый? Или просто ворчливый?

Я усмехнулась и задумалась.

– Он... он строг в правилах, – сказала я. – У него есть свои регламенты: не трогай мои вещи, не звони не по делу, не мешай макетам. Но он и добр иногда, – я почувствовала, как предательски теплеет мне в груди от этой мысли. Да, он и добр. Но доброть – это такая вещь, которую легко спрятать.

Ная постучала пальцами по столу.

– Я хочу знать, есть ли у него татуировки, – объявила она. – Если есть, отметь это галочкой в отчёте.

Джеймс смеялся тихо, и его смех отозвался в моём теле – он звучал как мелодия, которую хочется записать.

– Он показался мне человеком, который знает, чего хочет. Это пугает, – добавил он, и в этой фразе было не столько страх, сколько вызов. – Пугает, но интересно. Ты не хочешь, чтобы он был драмой, но при этом в глубине сердца надеешься на драму. Вот человеческая ирония.

Я хотела ответить, что в моей жизни драм было достаточно уже в детстве, что я предпочитаю меньше драм и больше честности. Но слова застряли в горле, потому что рядом со словом «честность» всегда шумит старое «брошенность в чулане», и я не готова была сейчас говорить о том.

Мы сидели ещё час, казалось, и разговоры то и дело возвращались к теме: учеба, планы, музыка, кино. Джеймс рассказывал забавные истории о заказчиках в кафе: «Одна женщина заказала латте, а потом потребовала, чтобы я написал на чашке ‘для королевы’ – и держала себя так, будто весь мир должен поклониться». Мы смеялись. Ная снова и снова указывала на то, что мы создаём какой-то новый круг.

Перед уходом Джеймс сложил чашку в ладони и посмотрел на меня так, словно собирался сказать что-то важное, но вместо этого сказал шутку и подмигнул:

– Вечером, после съёмок, заходи. Я обещаю, что эта корица не станет хуже – а может быть, и лучше. И ещё: если сосед попытается быть надменным – приводи его ко мне. У меня всегда найдётся аккорд, который сумеет смягчить ровные линии.

Я ответила, что подумаю, хотя в груди что-то подпрыгнуло, и это был тот самый странный трепет, который не хочется показывать даже лучшей подруге. Мы расстались на углу, Ная помахала мне рукой, а Джеймс сделал вид, что пристроит к рюкзаку невидимую гитару и уйдёт, оставив за собой ноту.

Возвращение домой было странно тихим. Солнце уже клонилось к закату, и небо над Санта-Моникой становилось желтовато-розовым – такой отблеск, который в идеальном мире подходил бы к кадру Наи. У меня под ногами всё ещё

шуршал песок, на губах держался привкус корицы, и в голове – фрагменты разговоров. Казалось, у меня появилось что-то вроде внешнего мира: друзья, которые не являются историей моего прошлого, а скорее возможностью будущего.

Я вошла в подъезд, нажала кнопку панели, и лифт медленно приподнял меня к нашему этажу. Дверь квартиры приоткрыта – нормально, мы так часто оставляем. Но в этот момент я услышала такое, что автоматически заставило мои пальцы жать на ручку сильнее: свет.

На кухне он был включён. Не весь, но тот, который я иногда оставляла ради ночника, чтобы не биться в темноте. Свет – мелкая вещь, но я знаю каждую мелочь в квартире, как собственную ладонь.

Я подумала сначала, что это забыл кто-то из жильцов, но шаги мои стали тише, и я увидела фигуру у стола – Зейн. Он стоял спиной ко мне, в наклоне, с чашкой в руках, и в комнате пахло горьким кофе. Он повернулся и, не удивившись моему появлению, сказал так же бытово, как и прежде:

– Ты опять оставила свет. Больше так не делай, – произнёс он спокойно, и его голос был таким же ровным, как тот, что я слышала в кафе, но теперь эти слова бьют уже дома. Они взрываются в квартире, потому что дом – это не только стена и крыша; дом – это то, что делишь.

– Я не оставляла, – ответила я почти автоматически, хотя знаю, что оставляла. Я хотела сказать «я его тушила», но эти слова казались слишком простыми, а нам сейчас нужны бы-

ли драматизм и эмоции. – Я была в кафе с друзьями.

Он посмотрел на меня так, будто бы хотел пройти на кухню и найти доказательство моей вины.

– Я видел свет из окна, – ответил он спокойно. – Считаю, что это было предупреждение.

Я почувствовала, как тепло живота превращается в мелкую желчь, и волнение поднимается, потому что это предупреждение звучит иначе: не про свет, а про контроль. Он строит границы, но без совета: он объявляет ультиматум. Мне это не нравится по многим причинам, не потому что я люблю оставлять свет, а потому что вещи перерастают в символы.

– Не начинай, – сказала я, и мой голос прозвучал твёрже, чем я планировала. – Это не повод вести себя как карающий судья. Ты просто мог отключить свет сам, если оно было так важно.

Он усмехнулся – коротко, без тепла.

– Мне не нравится, когда вещи делаются неаккуратно. – В его глазах мелькнуло что-то похожее на раздражение и усталость. – У меня завтра защита. Мне нужна тишина и порядок.

– Так и скажи это прямо, – выпалила я. – Не заворачивай в бытовое слово фразу «ты не для меня». Не надо мне вот этих твоих каменных табличек. – Я почувствовала, как поднимается голос, и с каждой секундой мне становилось всё труднее держать эмоции в узде. Я устала от того, что любое его сло-

во становится дальнейшей трещиной. Хочется кричать: «ты мне не пара», «я тебе не пара», но я знала, что это бессмысленно – и потому опасно.

Он внезапно сделал шаг ближе, не более чем на ладонь, и его лицо было так близко, что я могла увидеть простой рельеф щеки и маленькую царапину у брови, которую он давно не показывал.

– Я не говорю тебе «ты не пара мне», – сказал он тихо. – Я говорю, что у нас разные ритмы. Ты – люди, друзья, фестивали. Я – макеты, дедлайны, ночи и гашённый свет. Я не хочу, чтобы наши миры сталкивались так часто, чтобы ничего не осталось моего.

Его слова – вот они, честные и оголённые – звучали иначе, чем упрёки. Это была попытка объяснения. Но объяснение – оно не всегда лечит. Я вспомнила, как раньше, в детстве, меня закрывали в чулане, и как позже – в школе – меня выставили на посмешище. Я вспомнила, как человек, который смеялся тогда, был уверен, что это шутка. Я помнила и Зейна в том самом коридоре школы, и сейчас его слова ложились в другую плоскость: он не просил прощения, он просто ограждал своё. И это знание давило.

– Ты не спрашиваешь, – сказала я медленно. – Ты не пытаешься понять. Ты просто ставишь рамки. И я... мне это не приятно.

Он отступил, как будто отдал предпочтение логике.

– Я понимаю. Но мне тоже больно, когда мои вещи раз-

мываются. Я не прошу, чтобы ты исчезла. Я прошу элементарного уважения.

– Элементарное уважение – это не командование, – резанула я. – И не таблички. Мы – не музейные экспонаты.

Мы стояли друг напротив друга, и в воздухе висела напряжённость, которую не сотрёшь ни шуткой, ни тортиком. Он, внезапно и немного робко, сказал:

– Может, мы просто не умеем договариваться, – и в этой фразе было больше боли, чем я ожидала.

Я посмотрела на него и поняла, что под его бронёй – не только упёртость, но и страх потерять себя. Тогда почему же мне было так обидно слышать, что «ты мне не пара»? Потому что это звучало как приговор, не как признание. Я сжала губы и ответила тише:

– Мы попробуем. Но если ты начнёшь воспринимать каждую мою встречу как спектакль – я уйду в тень. И это не то, чего я хочу. – Я попыталась сказать это спокойно и точно.

Он помолчал, потом кивнул.

– Никаких табличек, – сказал он снова, и я услышала, что в его голосе была попытка помягчить резкость. – И... если что, проси меня. Я не умею читать мысли.

– Я тоже не умею – сказала я, – Но будем учиться.

Мы сделали паузу, которая была и соглашением, и сигналом о том, что впереди будет ещё много разговоров. Я ушла в свою комнату и, как ритуал, открыла блокнот. На новой странице я прописала:

«Правило №6 – просить, не ждать».

Под ним – маленький набросок лампы. Внизу – подпись: Иви. И ещё пометка: он сказал про свет. Он сказал «не делай так». Это мирный знак или часть его старой бронзы? Посмотреть позже.

Ночь развернула свои крылья за окном. Снаружи шум города становился фоном, который можно включать и выключать. Внутри, в нашей маленькой квартире, было ещё много неизученных углов.

Я закрыла блокнот и поставила рядом кружку с недопитым чаем. С одной стороны – у меня были друзья, которые смеялись, слушали и предлагали музыку в обмен на истории. С другой – Зейн, который умел говорить вещи так, что они звучали будто приговоры. Между ними – я, с маленькими правилами и ещё меньшими надеждами.

Я легла и не сразу уснула. В голове крутились фразы Джеймса, как аккорды: «мы продаём идею о том, что люди не просто лица в толпе», и Зейна: «не трогай мои вещи». Я поняла, что моя история – это не просто сюжет в блокноте. Это – моя жизнь, и её приходилось писать в реальном времени, с ошибками и вынужденными правками. И если я чему-то научилась, так это тому, что настоящие вещи разбивают на куски шаблоны. И в этом – весь смысл.

Глава 4 – "Шум и тишина"

Суббота начиналась как обещание: никаких лекций, никакой гонки, только дом и планы на минимализм – то есть навести порядок, сделать вид, что мой быт – это не сплошной эксперимент по выживанию, а маленькая, аккуратно уложенная история.

Санта-Моника утром пахла иначе: прохладой, солью, и сквозным запахом кофе, которым приходилось завтракать прямо в дороге. Я поставила чайник, открыла шкаф и на секунду задержалась на том, что дом – это не только стены, но и запахи людей, которые в нем живут.

Наша квартира в субботу казалась по-особенному пустой: Зейн уехал – сказал что-то про «парней» и «дела» вечером, не стал уточнять. Я не ждала от него объяснений, у нас теперь свои ритмы. Две комнаты, маленькая гостиная с диваном, который служит ещё и полкой для книг, и кухонька, где умещается ровно два стула и микроволновка, – всё это сегодня было моим пространством, и я решила сделать мирную уборку.

Первым делом – раскидать бумаги. Мой блокнот лежал в углу, как всегда – немного потрёпанный, на нём пара наклеек, следы карандаша. Я открыла на последней странице: «Правило №2 – не давать Зейну власти над эмоциями». Под этой надписью поставила галочку и выдохнула. Правило зву-

чало хорошо на бумаге. В реальности – работало как сложный алгоритм.

Я взяла веник – да, у нас веник (почему-то в Санта-Монике веник звучит как реликвия) – и начала сгребать песок, который принадлежал не мне, а всему городу. Он скрипел под пальцами, как сухие листья. Ветер с океана заглянул в окно и принёс запахи: кто-то жарил бекон, вдалеке кто-то кричал в телефон. Я думала о пустяках: о репликах профессора, о том, что нужно прочесть ещё одну главу для семинара, о том, сколько кофе я выпью до вечера.

Пока я мыла чашки (мелкие женские ритуалы – вода, мыло, круги на фарфоре), подумала проверить корзину для белья. У нас она одна, на кухне, по совместительству – мини-контейнер для всего, что надо скрыть от чужих глаз. Забежала туда, просунула руку и вытащила стопку футболок. Среди них – его куртка, та, что всегда висит на спинке стула у его двери. Я высвободила её, и запах – кожа и табак – тут же напомнил о нём: о его вечерах, о его музыке, о том, что он умеет жить громко, когда хочет.

Куртка была чуть помята. Под правым рукавом – маленькая тёмная тонкая царапина и маленькое пятнышко, как будто уроненная капля – не знаю чего – кофе? крови? Мне стало немного легче: никакой катастрофы, просто жизнь. Я встряхнула куртку, чтобы крошки песка посыпались на пол, и тут взгляд зацепился за руку – не его руку, а след от чего-то тёмного на внутреннем шве рукава. Как будто рубец, только

свежий, или тлеющее пятно.

Я отложила куртку на стул, потому что думать о чужих следах в субботу – это плохая идея. Ладони мои продолжили работу: складывала полотенца, стирала пододеяльник, проверяла, не забыла ли выключить утюг. Второе, третье, музыка в голове – список дел, который всегда был моим спасательным кругом.

В этот момент – звонок. Ная. Её голос через телефон – как солнце, которое ломает облака: громкий и бодрый.

– Иви! – раздалось в трубке. – У тебя свободное утро? Я в двух шагах от вас, закончила пробу с командой, и подумала: почему бы не заглянуть в гости к тебе, а? Принесу печенье.

Я улыбнулась, потому что у печенья были шансы на успех.

– Заходи, – сказала я, – через двадцать минут. У нас тут начальная уборка на выживание, так что если ты принесёшь глазурь, будем официально праздновать.

– Отлично, – ответила она.

Мы повесили трубку, и я с необычным облегчением поняла: суббота не будет пустой. Я засунула куртку обратно на стул, скрывая пятнышко тенью складки, и пошла готовить чай.

Через двадцать минут Ная появилась как фейерверк в дверях: широкая улыбка, сумка со свежими печеньями и в руках – та самая милая толстовка с логотипом её фильма. Она пахла лаком для волос и цитрусами.

– Ты сияешь, – заявила она, снимая куртку и вешая на

крючок так, что половина квартиры мигом наполнилась её энергией. – У тебя тут уютно. Я принесла корицу и привезла маленькую радость – говорю же, ты меня спасла. А ещё у меня новости!

Мы уселись на диван, я поднесла чашки, и началось – то самое девичье пространство, где можно говорить обо всём и ничего. Ная обожала мелочи: у неё было умение превращать банальные вещи в эпопею. Сегодня её эпопея началась с того, что она рассказывала о съёмках.

– Ты не представляешь, – она расправляла платочек, – у нас был режиссёр, который решил, что фон нужен «немного более ретро», и начал таскать по улице старые плакаты. Я думала, он сошёл с ума. Но получилось мило. Люди смотрели и улыбались – и я понимаю, что мы снимаем не просто картинку, а маленький подарок городу.

– Это звучит по-настоящему, – сказала я, – я немного завидую. У меня сегодня уборка, стираю, и думаю о том, как бы выглядело это все в твоём ретро. Может, я и есть ретро.

Ная фыркнула, положив на колени печенье.

– Иви, ты – как раз та, кто собирает истории. Тебе не нужно перекидывать плёнки, чтобы понять свет. У тебя в блокноте – миллион маленьких правд.

Я улыбнулась, потому что в этом был правдивый комплимент. Мы говорили о ерунде: о профессоре по медиа, который снова повторял одни и те же фразы; о том, как Джеймс смешил ребят за барной стойкой; о том, что одна из наших

однокурсниц устроила благотворительную ярмарку и объявила себя «гуру благотворительности» – и Ная, разумеется, уже планировала включить это в короткометражку.

– А как у тебя с этим соседским – он дома? – спросила она вдруг, и в её голосе проскользнуло любопытство, ровно столько, сколько и ложка сплетни. Ная – это двигатель справедливого любопытства, никогда не злого, а всегда задиристого.

Я почувствовала, как сердце немного сначала сжалось, а потом устроило глухой боковой удар – как напоминание старого правила.

– Нет, – ответила я, – он уехал, сказал, что будет у парней. Я не уточняла.

– Хмм, ты же не думаешь, что он – какой-нибудь тип «романтик с приключениями»? – продолжала Ная, раскусывая печенье. – Если да, то нам нужна прокладка для сценария: таинственный сосед, который спасает героиню.

Я усмехнулась.

– Он скорее тот, кто делает вид, что горит, но на деле – просто жарит бургеры в компании друзей. Это романтика в стиле «грязные руки, чистая совесть».

Ная наклонилась, и её глаза блеснули.

– Ты знаешь, мне он кажется чуть жарче, чем «просто бургеры». Он такой... как его... неуловимый. – Она говорила и делала большие паузы, как будто отмеряла сюжет. – Я бы поставила на него десять центов, что он умеет петь в душе и

дерётся в подпольных боях.

Я отложила печенье, потому что её слова задели не там, где она ожидала. Ная смеялась, гуща её смеха была заразной, но в уголке рта у меня начало покалывать. Подпольные бои? Сценарий звучал драматично. В голове моей тут же всплыло его лицо – куртка, запах табака, лёгкий след под рукавом, который я аккуратно спрятала. Я сжала чашку так, что внутри загудело.

– Ная, – сказала я осторожно, – давай не будем строить теории. У людей бывают разные хобби.

– Ну конечно, – отозвалась она, – но представь картину! Наш Зейн – ночной герой! – и тут же добавила, не давая мне возможности уйти: – Слушай, а если правда? Ты же говорила, что он иногда приходит с синяками. Это было давно? Ты в курсе?

Я замялась. Сказать «видела что-то подозрительное» – значило снова открыть маленькую дырочку в броне. Сказать «ничего не знаю» – значит лгать себе. Я выбрала аккуратную правду, потому что с Наей всегда лучше честно.

– Да, – ответила я, – Но он сказал, что всё это – бар. Глупости. Наверное, он и правда просто попал в драку в баре. – Я сделала лицо «всё под контролем». – Ничего драматичного.

Ная насмешливо подняла бровь.

– Ты слишком спокойна. Либо ты влюблена, либо у тебя есть секрет. – Её шутка была тестом – и в ней было тепло. –

Но если он действительно дерётся в подполье, я хочу знать, кто снимает на айфон эти бои. И где я могу взять билет.

Мы обе рассмеялись. Смеяться с Наей легко: её смех – как зеркало, в котором отражаешься лучше, чем обычно. И всё же в голове у меня бродила мысль, не отпускающая. Я вернулась к коробкам – нужно было убрать, и мысли о чужих синяках не улучшали эстетики наших полок.

Мы пропылесосили углы (у меня есть особый способ: включаешь пылесос, притворяешься властительницей пространства и всё чисто), сложили стопку выгоревших футболок, и Ная предложила устроить спа для наших рук: ванночки с солью, маски из авокадо, и прочие ритуалы, которые делают субботу не просто днём, а маленьким обрядом перезагрузки.

– Давай сделаем фото, – предложила она, доставая телефон. – Для инсты. «Суббота: Пыль, Львята, и Мизантропы». – Она смеялась и набирала хэштеги, как будто каждое слово – глоток воздуха.

Я позволила сделать одно фото: мы сидели рядом, волосы не идеально уложены, но с видом «мы живём, и это прекрасно». Потом разговор перешёл на Джеймса: на то, как он играл на барной стойке в пятницу, и на его «милую манеру» подбрасывать людям мелодии, которые потом застревали в голове. Ная, конечно, сразу заговорила:

– Ты должна пойти послушать его вечером.

Я улыбнулась и подумала о том легком флирте, который у

нас с Джеймсом был в кафе. Было странно думать, что в одном углу жизни у меня улыбки Джеймса, а в другом – молчания Зейна. И где-то посередине – я, пытающаяся не потерять собственную линию.

Время пролетело быстрее, чем я ожидала. Ная осталась до полудня, мы сделали овсянку с бананом, посидели у окна, смотрели на прохожих и выискивали сюжеты из их прогулок. Она рассказывала про девушку, которая собрала на пляже целую коллекцию писем в бутылках – и предложила нам снять об этом короткий эпизод. Я представила кадр: волна, бутылка, и чья-то судьба, переплетённая с нашей.

Когда Ная ушла, квартира снова стала тихой. Я закрыла окно, убрала чашки, и вдруг мне снова захотелось проверить куртку – не из любопытства, а из ритуала. Я расправила рукав и посмотрела внимательнее: маленькая тёмная борозда на ткани стала чуть более заметной. Я прикоснулась пальцем – и на коже остался лёгкий призрачный след, как будто ткань забрала то, что было живым.

Я села на стул, положила куртку на колени и впервые задумалась о том, что значит «быть видимым» для кого-то. Я вспомнила его фразу «не трогай мои вещи» – и подумала, что, может быть, эти слова не только про вещи. Может быть, он так защищает то, что ранит. Или может быть, он просто не знает, как сказать «я болею» без ругани.

Я взяла блокнот и написала:

Правило №7 – замечать следы.

Под этим – маленькая стрелка: проверить позже.

Суббота шла к вечеру. Я включила тихую музыку – ту, что не требует подвигов слушателя – и поставила чайник. В ушах были смех Наи и лёгкий аккорд Джеймса из воспоминаний. Куртка на стуле лежала как маленькая карта: над ней – дом, под ней – тайна, рядом – я с моими псевдо-правилами. Мне хотелось, чтобы всё было проще. Хотелось, чтобы люди не прятали в себе такие вещи, которые оставляли пятна на ткани. След был там, тихий и стеснительный. Я провела пальцем по ткани и поняла: обычно я бы спрятала это в угол, но сегодня – я оставлю. Пусть будет напоминанием: не всё, что просто «след», – мелочь. Иногда это начало истории, которую стоит прочесть до конца.

Я ужинала одна – простой овощной салат, миска, старая вилка и маленькая победа над собой: не заказывать пиццу в субботу, а сделать что-то живое и здоровое. За окном Санта-Моника дышала ночной прохладой; в комнате было тихо, только лампа над столом бросала круг тёплого света на ска-терть. Я любила такие вечера, когда можно быть с собой без зрителей.

Резала огурец, думала о том, как Ная взрывает мою жизнь цветами и идеями, и улыбалась тихо – той улыбкой, что кажется самой настоящей, потому что не требует подтверждений. Вилка коснулась краешка тарелки – звук, как отметка: «сейчас немного покоя». Я сделала глоток чая и уже соби-

ралась читать, когда в коридоре послышался гул – сначала далёкий, потом ближе. Дверь в нашу квартиру распахнулась с таким шумом, будто в неё въехал маленький шторм.

Через неё вошли четверо. Они наполнили коридор смехом, запахом пива и голосами, которые тут же расползлись по всему пространству, как краска по влажной бумаге. Показалось, что в одну секунду из нашей квартиры вынесли весь порядок и заменили его на теплоту какого-то барного вечера.

Первым был высокий парень в потертых джинсах, с короткой щетиной на подбородке – Марко, наверное, он, показался мне самым разговорчивым. За ним – Лука, шире в плечах, с громким смехом и таким видом, будто бы вся вселенная – его личный комик-клуб. Третий – тот, кто мне сразу не понравился: аккуратные волосы, слишком белые зубы, улыбка на пол-лица, и в руке – бутылка пива, которую он держал так, как будто это реликвия. Его глаза пробежали по комнате и остановились на мне.

– О, у нас тут гостя, – проговорил он громко, и голос был рассчитан так, чтобы слышали все, даже соседи через стену. – Кто это? Ты кто?

Я отложила вилку и попыталась улыбнуться вежливо – потому что вежливость экономит время и нервные клетки.

– Я Иви, – ответила я спокойно. – Я живу здесь.

Он пододвинулся ближе, слишком близко, и улыбка его сделалась шире, игра началась в глаза.

– Приятно познакомиться, Иви. Ты выглядишь как та, кто

знает толк в правильном салате.

Марко ухмыльнулся, Лука запустил руку на затылок, и в их движениях было столько свободы, что у меня внутри всё сжалось. Зейн стоял чуть в стороне, возле дверного косяка, с рюкзаком на плече. Он был в своей обычной кожаной куртке, волосы немного растрёпаны – и в одно мгновение я поняла, что он не просто пришёл – он приволок целую атмосферу. Он казался весёлым, но в глазах проскочила та короткая линия, которая была предупреждением: не позволяй им переходить границы.

Друг второй – тот с белой улыбкой – продолжал пялиться на меня. Шутка посыпалась, и её тон был такой, будто он исполняет репертуар, отточенный до автомата.

– Ты же его соседка? – спросил он, уже забыв про вежливость. – Ну и каково жить с таинственным рок-героем? Крутит тебя?

Зейн сделал шаг, его было не прочувствовать – он казался по-прежнему расслабленным, но голос его опустился ровно на тон ниже, и это изменение было как поворот гаечного ключа: всё застыло.

– Стоп, – сказал он. – Ты себя ведёшь как осёл. Уважай людей в доме – закрой рот.

Короткая пауза. Смеющиеся голоса притихли. Лицо того парня изменилось: удивление, щепотка испуга, и тут же – смягчение маски: «ну ладно, я просто шучу». Но уже было поздно. Я почувствовала, как под моими ребрами забурлила

какая-то смесь облегчения и смутной благодарности: он защитил меня, да – но его интонация была не ласковой, а как будто он уже давно наготове, и это не первый раз.

– Ладно, – буркнул один из них, – мы идём вглубь, поставим музыку, устроим мини-вечеринку. – Он поднял бутылку. – Ты с нами, Зейн?

– Конечно, – ответил Зейн, и в его голосе было «да» того, кто уже присоединился к игре.

Сначала все трое устремились в гостиную, и смех, и голоса, и ритм – всё это будто бы стремилось заполнить каждый угол. Я встала, взяла тарелку, и у меня было это странное, знакомое чувство: дом – не только дом, когда в нём еще кто-то. Я не хотела быть поводом для чьих-то шуток.

– Я пойду в комнату, – сказала я ровно.

– О, не уходи, – раздался шёпот того с белой улыбкой. – Будь с нами. – Он улыбнулся так, будто это приглашение – лучшая идея в мире.

Я сделала вид, что не слышу, и пошла в коридор, чувствуя, как музыка взрывается: басы, которые сначала не заставляют, а потом будто бы вгрызаются в стену. Дверь в мою комнату закрылась, и я положила тарелку на тумбочку, пытаюсь сделать так, чтобы моё дыхание стало ровнее.

Из комнаты донёсся стук бутылок, говор – всё было близко и невежливо. Я села на кровать и попыталась думать о чем-нибудь другом: о лекциях, о правиле №7 – «замечать следы», которое я записала днём. Это казалось подходящим:

сегодня я замечала больше, чем обычно. Следы – на куртке, на полу, в запахах. Они говорили больше, чем сами слова его друзей.

Через час в мою дверь кто-то постучал. Я ожидала, что это будет, например, Энни— наша соседка снизу – но когда дверь приоткрылась, на пороге стоял он. Тот самый белозубый парень. И он был не совсем один – у него была таящая в себе лёгкая наглость улыбка и взгляд, который сказал: «я могу зайти внутрь, верно?».

– Привет, – произнёс он мягко, как будто мы только что обменялись визитками. – Можно?

Я сделала шаг назад: «нет» – внутри меня было громче, чем «да».

– Прошу, выйди, – сказала я, и голос мой был ровный, но в нём проскользнула стальных нотка.

Он снова улыбнулся, демонстративно не заметив отказ:

– Не будь такой скучной, Иви. Я просто хотел пообщаться. Ты выглядишь интересной.

Признаюсь, в такие моменты старое чувство – уязвимость – всплывает как мутный пузырь. Сердце слегка подпрыгивает не от страха, а от привкуса неловкости: он делает вид, что есть не только я, но и публика, и он – артист, а я – зритель.

– Мне не нужно общение сейчас, – произнесла я и поставила перед собой линию: дверь должна была остаться закрытой.

Он сделал шаг внутрь. Я отшатнулась.

– Эй, отойди, – сказала я уже твёрже. – Я попросила выйти.

Он нахмурился так, будто бы я – недостаточно интересный диалог для него.

– Ты что – не любишь внимание? – спросил он, голос слегка подшучивал. – Я просто хочу узнать тебя получше. Не принимай это так серьёзно.

Я подскочила с кровати:

– Выйди, пожалуйста, – повторила я.

Но его манера держаться была напористая, и он, не слушая, шагнул ближе и положил руку на край кровати – слишком близко, и от этого душно.

Тогда мне показалось, что мир колеблется. В груди взорвался старый автоматический отклик – не тот, что от похвалы, а тот, что от детских ловушек: «ухожу, если мне плохо». Я почувствовала, как горячее раздражение началось с цвета в глазах и распространилось по всему телу.

– Я сказала тебе выйти, – произнесла я резко, и в моём голосе не было шуток.

Он посмотрел на меня с удивлением, как будто впервые заметил, что я разговариваю с ним без улыбки.

– Расслабься, – сказал он. – Не будь такой злой. Мы все просто веселимся.

Он приблизился ещё, и теперь его рука – тёплая, с запахом пива – оказалась на моем колени, мягко, как случайный жест. Моё тело сказала «всё», и я отдернула ногу.

– Выйди, – повторила коротко.

Он рассмеялся и, не желая уходить, наклонился ко мне, голос его стал темным и почти сладким:

– Ну давай, не унижай меня. Будь хорошей девочкой, – и губы его почти коснулись моего уха.

В этот момент в комнате не осталось никакой игры. Было только жарко и остро и хотелось плакать и смеяться одновременно – смешение того, что старые раны превращались в реакцию. Я поставила руку на его грудь и толкнула чуть, чтобы он отошёл.

И тут дверь распахнулась. Зейн влетел так, как будто его кто-то встревожил намного сильнее, чем шум: глаза его цепкие, лицо – куплено вниманием, и он не собирался молчать ни секунды.

– Что ты делаешь? – вырвалось из него. Его голос был как молот: громкий, ударный, тот самый, что заставляет стены дрожать. – Уйди от неё, придурок.

Парень, который приставал, покраснел – сначала от гнева, потом от страха. Марко и Лука тут же ввалились в комнату, громко роясь и пытаясь догнать смысл сцены. Зейн сделал шаг вперёд и схватил того парня за плечо, отталкивая его к двери.

– Я сказал не трогай её, – прошипел Зейн, и это был голос не защиты «героя», а священного праведного гнева. – Ты слышал, что я сказал?

Парень, неудобно прихрамывая, соскользнул по полу до

порога.

– Эй, чувак, я просто заигрался, – бормотал он, но в голосе слышалась уже не шуточность, а страх – потому что Зейн сейчас был не просто беззаботным парнем, с которым можно шутить, а чем-то куда более серьёзным и опасным.

Я стояла в середине комнаты, сердце колотилось, ладони были влажные. Я видела, как в глазах Зейна – искра, которую я раньше видела редко: не весёлая искра, а искра ярости. Он повернулся ко мне на секунду, и в взгляде его был вопрос – «ты в порядке?» – без слов, но всё очень ясно.

Я не могла дышать спокойно. Было смешно и ужасно одновременно: тот же человек, который утверждал, что «я не пара ему», сейчас – идущий в комнату с ревом, отстаивающий меня. Где логика? Где спокойствие? Я уже не хотела быть его актрисой. Я хотела тишины. Хотела, чтобы мир не ломал моё спокойствие неожиданными толчками.

– Всё в порядке, – выдохнула я, и слова сорвались в виде маленькой искры. Я ждала, что он упрётся в меня словами, что у нас всё сложно, что он скажет «оставь меня в покое», – но он сверлил глазами своего друга, и в его движениях было больше защиты, чем я ожидала.

Марко и Лука по-быстрому свалили друг за другом в коридор, тряся ключами и смеясь – но уже не так громко, потому что в их глазах появилось уважение к границам. Парень с белой улыбкой медлил на пороге, глядя на меня как на объект эксперимента. Он швырнул испуганное «извини» и, не

глядя, выскочил в коридор. Дверь захлопнулась.

В комнате опустилась тишина, такая гнущаяся, что я поймала себя на мысли: да это же звенит. Зейн стоял, дышал тяжело, плечи чуть дрожали от напряжения.

– Ты в порядке? – спросил он вдруг, уже тише, он сказал это так, будто боялся, что звук «я не в порядке» разобьёт стекло.

Я почувствовала, как внутри всё взрывается: злость, признание, стыд, облегчение – клубок, который нельзя распутать одним движением. Я встала и, не посмотрев на него, схватила куртку. В голове крутилось странное: «он защищает меня, но затем снова будет та дистанция, снова эти таблички, снова его 'я сам по себе'». Я уже не могла – не сейчас. Мне нужно было уйти, чтобы подумать, чтобы не разжечь новый конфликт.

– Я ухожу, – сказала я ровно.

Он сделал шаг, как будто хотел остановить меня.

– Не уходи, – произнёс он резко и сразу добавил мягче: – оставайся.

Я посмотрела на него, и в его глазах было столько всего, что я не могла переварить.

– Нет, – выдохнула я. – Мне нужно побыть одной. – и это была правда: не потому что я злиться, а потому что в голове звучал шум бури, и мне нужно было посчитать свои предметы, успокоить мотор, вернуть дыхание в норму.

Я вышла в коридор и закрыл дверь за собой, чувствуя, как

вечерний воздух обхватил меня холодной ладонью. Я шла по улице без маршрута; свет фонарей вытягивал тени, и шаги мои глухо стучали по мостовой. Я не знала, куда идти: на пляж? В бар? В квартиру друга? Мне нужно было просто удалиться от звука его голоса, от чужого прикосновения, от его защиты, потому что всё это было слишком. Слишком быстро, слишком много, слишком правдиво.

Я шла, думала о том, как странно иногда жизнь складывается: утром – правила на бумаге, вечером – реальность, которая рвёт бумагу в клочья. Мне хотелось написать в блокнот: «Правило №8 – уходи, когда нужно, даже если это обидно». Но я не стала. Вместо этого я глубоко вдохнула и пошла вдоль улицы, где свет фонарей делил мир на участки, и в каждом участке – своя история. Моя – сейчас просто шаги в ночи.

Я шла часа два. Два часа, пока город вокруг смыкал веки и становился мягче, пока уличные фонари вытягивали тени длиннее, чем днем, и пока в голове вертелась одна простая мысль: «Я просто хочу остаться в порядке». Но люди не складываются под желания – они складываются под шаги, запахи и незаконченные разговоры.

Ночью Санта-Моника пахла иначе: не только солью и морем, но и тепло-сладким ароматом уличных кафе, где кто-то еще более-всему-рад; потом – сырой пылью от парков и тонкой горечью воздуха у перекрестков. Я шла вдоль линии

витрин, смотрела на зеркальные окна и думала о том, как редко в жизни получаешь возможность просто уйти – не от людей, а от мыслей, которые тебя едят. Двое часов было достаточно, чтобы не думать о том, как он защищал меня всего два часа назад и как его голос взрывался в комнате. Двое часов, чтобы понять: я могу уходить, но расстояние не решает вопроса, оно только откладывает ответ.

Когда я вернулась, дом спал так, будто никогда не просыпался. Коридор был пуст, лифт застыл на моем этаже, и в сумке от остатков ночи еще держался запах корицы. Квартира встретила меня приглушённым светом – кто-то выключил всё лишнее, оставив тёплый круг над диваном, где кто-то, видимо, сидел и думал. Я остановилась на пороге и вслушалась: в тишине слышалось только как часы на кухне делали неторопливый тик, да мое собственное дыхание – ровное и приглушенное.

Он сидел на диване, голова опущена, руки сложены в замок так, что в пальцах выступали сухие жилки. Казалось, что он пытается сжать в себе целую бурю. В ту самую секунду он заметил меня: резко вскинул голову, как будто не ожидал, что дверь откроется именно сейчас. Его лицо – тот самый контраст, который я уже успела запомнить: каменная маска «мне всё равно», и сквозь неё пробивается что-то тонкое и тревожное – будто тонкая трещина в глыбе.

– Ты вернулась, – сказал он так, будто произнёс прописную истину. Но голос дрогнул на конце, и это было сильнее

любой откровенности.

Я сняла куртку, поставила сумку на пол и прошла к столу, как будто это самый естественный маршрут, а не попытка держать дистанцию.

– Да, – ответила я спокойно. – Ходила пешком. Думала.

Он резко вскинулся и встал, и в этот жест было две силы: первая – та, что хочет выглядеть холодной и отстраненной; вторая – та, что рвётся наружу: «где ты была, почему одна, что с тобой было». Его голова покачнулась, и в глазах мелькнуло то, что я называю «ребенок-в-темноте» – неуверенность, смесь вины и страха.

– Ты не должна была идти одна, – сказал он, коротко и резко. Его слова – как камень, брошенный в окно тишины. – Нельзя так. Ты могла...

Он не закончил фразу. Мне стало странно от того, как быстро из каменного лица вываливается забота, как будто скрытая за маской рудная жилка вдруг проглянула наружу. Я понимаю, что многие люди умеют маскировать страх под грубую шутку, но он – мастер этого: сначала шутит, потом кричит, потом снова притворяется, что ничего не было. И я, наивная, каждый раз думаю, что сейчас он остановится – и вдруг вижу, что он – человек, который и хочет, и боится одновременно.

Я подошла ближе. В комнате было темнее на одной стороне, и это как будто подчёркивало его силуэт. Потом я заметила – синяк. Маленький лилово-жёлтый круг на скуле, и

царапины на правой руке, на костяшках пальцев – «разбитые котяшки», как будто он бился кулаками об стену или об что-то ещё. Все эти детские слова – «котяшки» – звучали сейчас по-новому: грубый след, который не вписывается в ту картинку «забавного вечера с друзьями».

– Ты в порядке? – спросила я, но не из робости. Слова рвались наружу сами; я не хотела паниковать, мне хотелось понять. Мне всегда было легче с фактами, чем с эмоциями, которые маскируются словами.

Он откашлялся, нервно зажмурил глаза и сделал шаг назад.

– Это ничего, – отрезал он. – Небольшая неприятность. Бар, неудачный парень... всё как обычно.

– Бар, – повторила я медленно, и в голове логика включила маленький механизм: «Бар – как часто?». – Ты часто возвращаешься с такими... метками?

Он оперся о спинку дивана и посмотрел прямо на меня. В его взгляде было что-то ясное и холодное – он подбирал слова.

– Я тебе говорил, что у меня иногда бывают... напряженные вечера, – сказал он. – Ничего серьёзного. Я справлюсь.

Я слышала в его «я справлюсь» не уверенность, а вызов самому себе – «я не сломаюсь, я – это не я». Мне захотелось ударить его по плечу от злости и одновременно обнять, чтобы ничего не осталось. Этот контраст всегда действует на меня как плохая анестезия: боль притупляется, но остаётся

под кожей.

– Твои друзья... – начала я осторожно. – Тот парень, который вошёл ко мне в комнату... он вел себя как козёл.

Его лицо моментально сжалось, и он не сразу ответил.

– Я знаю, – сказал он тихо. – Я сказал им уходить изначально. Я... извини меня за это.

– Ты сказал им – но они все равно зашли, – упрекнула я его. – Ты не остановил их.

Он резко вжал голову в плечи, и в движении было видимо сожаление.

– Я не заметил вовремя. Я думал, что они просто будут веселиться, и это пройдёт. Мне нечего оправдывать. Но я должен был вмешаться раньше.

– Почему? – спросила я. – Почему они так себя ведут? Это на постоянной основе?

Он выдохнул и сел обратно на диван, словно устал от борьбы – не снаружи, с собой.

– Потому что я... иногда не успеваю остановить себя, – сказал он, и на этот раз голос был не лицемерный, а честный. – Я отпускаю ситуацию, и она идёт дальше, чем я рассчитывал. Я знаю, что это звучит как слабость. Но мне обидно. Обидно, что я привел людей, которые переступают черту. Обидно, что я тебя подвёл.

Его слова были просты и рубленые, как каменная плита. Я смотрела на него и вспоминала все те моменты, когда он казался мне одновременно и грозой, и ребёнком. Бывало ли

ранее, чтобы он сам испытывал угрызения совести и показывал их не словами «извини» в тоне «не вините меня», а вот так – настоящими, грубыми, без прикрас? Редко. И сейчас это как будто поднимает завесу: под этим плотным слоем «весёлого парня» – есть человек, который может жечь себя так, что вокруг остаются синяки.

– Ты знаешь, – сказала я, медленно. – Я не хочу судить. Но я не хочу, чтобы ты думал, что это нормально. Мы живём вместе. Если твои друзья нарушают мои границы – это и твоя проблема тоже.

Он посмотрел на меня, в его глазах смешалось удивление и почти детская благодарность.

– Я знаю, – ответил он. – Я виноват. Я... Я просто хочу, чтобы всё было правильно.

Я сделала вдох. Ночь была такой, что каждое слово резало по живому.

– Ты хочешь, чтобы всё было правильно, – повторила я, – но иногда «правильно» требует действий. Слова – они не оставляют следы.

Он опустил взгляд на свою правую руку, где были отметины.

– Я знаю, – прошептал он. – Это не от стен и не от мебели. – он смял кулак в руке, словно сжимая в себе то, что нельзя показать. – Я не хочу, чтобы ты думала, что я ищу силу в кулаках. Но я... не знаю как иначе. Иногда это единственное, что заставляет меня чувствовать, что я ещё кто-то.

Это признание прозвучало так, будто вытащили из него кусок огня. Я почувствовала, как моё сердце – упрямое, но мягкое – ответило. На поверхности я выглядела сурово, но внутри у меня зашевелилось сочувствие: человек, который запутался в способах быть собой, и не умеет сказать себе «хватит». Это было не оправдание, но объяснение – первая искра к тому, что можно лечить.

– Ты можешь найти другие способы, Зейн, – сказала я тихо. – Я не хочу, чтобы ты ломал себя. Я не хочу видеть, как ты приходишь домой в таком виде. Это пугает меня. И я не хочу, чтобы твоё «я» было в ранах.

Он поднял голову и на мгновение посмотрел прямо мне в глаза.

– Боюсь, – сказал он, – что если я перестану, то останусь пустым. Что вся та уверенность, которую я выдаю, развалится. Ты можешь не понять, но оно так. Я – тот, кто делает выбор.

Я села рядом на край дивана. Мои пальцы сами потянулись к его руке и коснулись разбитой кожи осторожно, почти по бабушкиному жесту. Он напрягся, ожидая упрека, но не отдернул руку. Я не стала смотреть на синяк на скулах – это мне не нравилось – но взглянула на него и сказала:

– Можно я помогу?

Он моргнул, и в этом моргании было столько всего: стойкость, удивление, и, наконец, согласие.

– Может быть, – пробормотал он, – может быть, мне про-

сто нужно, чтобы кто-то просто был рядом. Не чтобы лечил, не чтобы решал, а чтобы просто не давал уйти.

Мы сидели так, в молчании, где было место и для его боли, и для моего раздражения, и для чего-то нового – того самого «может быть». Я чувствовала как внутри у меня расплавляется лед: не всё его поведение мне нравилось, но стоять в стороне и закрывать глаза было тоже неправильно. Иногда близость – это не про то, чтобы взять щит и отбиваться, а про то, чтобы позволить тому, кто рядом, быть несовершенным.

– Я не прошу тебя прощения за то, что ушла, – сказала я наконец. – Я ушла потому, что мне нужно было понять, хочу ли я оставаться в доме, где вечеринка может перерасти в притеснение. Но я вернулась, потому что у меня есть выбор.

Он тяжело вздохнул и улыбнулся – не громко, тихо, словно это было смущенно.

– Спасибо, – сказал он. – Я понимаю, что мне нужно быть внимательнее. Я не хочу, чтобы ты ходила по ночам одна. И если ты когда-нибудь снова уйдешь – скажи мне. Просто скажи.

Я посмотрела на него и у меня было такое ощущение, что он сказал это не командой, а просьбой.

– Хорошо, – ответила я. – И ты скажи мне, если собираешься на «вечеринку» с риском. Я не буду тебя судить, но я хочу быть в курсе.

Он кивнул, и между нами на секунду возникла тонкая, хрупкая сдаться: знание о том, что мы, возможно, готовы дого-

вариваться. Я встала, взяла свою куртку, но не стала уходить. Вместо этого медленно подошла к нему, положила руку на его плечо и сказала:

– Ты не один, Зейн. Просто не делай себе больно.

Он закрыл глаза и в кулаке зажались пальцы. Мне показалось, что он сдержал сто слов, которые хотел сказать, и мне было от этого и тяжело, и радостно одновременно. Мы были далеко от готовности стать «мы», но уже ближе, чем раньше.

Я уснула не сразу той ночью. Левая рука теплилась от прикосновения, а в голове вертелся новый пункт, который я записала в блокнот, пока он мирно дышал:

«Правило №8 – не оставаться в стороне, если кто-то рядом ранен».

Это было не про контроль, а про ответственность – и в этой простоте было слишком много смысла.

Ночь прошла, и за окном город начал тихо собираться в новый день. Я не знала, сколько у нас получится, но знала одно: кто-то должен был начать лечить следы – и это начало, каким бы неуклюжим оно ни было, уже происходило.

Глава 5 – "Лёд возвращается"

Воскресенье началось не так, как я себе представляла вчера ночью, когда мы сидели на диване и, казалось, осторожно раскладывали друг другу части каких-то хрупких договорённостей. Тогда было тепло: не ровное, не равновесное счастье, а скорее мягкая угроза – вот он, шанс, проступающий сквозь трещины. Я засыпала с ощущением, что что-то сдвинулось. Даже почувствовала, что правила можно слегка подправить: не умирая от гордости, немного уступить.

Утро пахло кофе и свежеиспечёнными тостами. Я проснулась раньше, потому что спать после событий – это роскошь сомнений; лучше делать что-то руками. Поставила воду на плиту, нашла пакет с хлопьями и решила, что сделаю что-то «взрослое»: омлет с зеленью и тост с авокадо. Маленький вкус стабильности. Когда режешь лук и чувствуешь, как он дарит тебе слёзы – это прозрачно, честно; не тот трюк, который люди используют для драматических признаний, а настоящий порез, горячая сковорода, запах масла. Это земное, и мне это нравилось.

Я представляла, как он, может быть, встанет и тихо выйдет на кухню с чашкой в руках; как мы обменяемся парой слов про планы на день; как воздух будет терпим к глупым разговорчикам. Я ловила в себе картинку – и улыбнулась, потому что радость от простых вещей всегда казалась мне

более настоящей, чем старая драма. Я приготовила тост ровно так, как мне нравится: поджаренный, но не сожжённый, авокадо размято вилкой с лимоном, на тарелке всё выглядело ухоженно.

Кухня была тёплая, окна полупрозрачны от лёгкого тумана с улицы, и потому свет казался мягким. Я поставила тарелку на стол и, не постыдившись, оставила половину на потом – честно говоря, с утра мне нравилось не спешить.

Но он не появился. Сначала я подумала, что может уснул, что ему было плохо, что он просто не в духе, но я настроилась верно – ведь вчера мы говорили, и это должно было как минимум смягчить наши границы. Я сидела, ела медленно, пыталась не думать об этом, но мысль – как червячок – вертелась в голове: «Он холодеет? Или я слишком надеялась?»

Через час я услышала шаги. Они были быстрые, чёткие – не сонные, не смазанные. Я ожидала, что Зейн зайдёт с улыбкой, с той неловкой, почти детской: «Что ты сделала из злака?» Но тот образ не появился. Вместо него в дверной проем вошёл человек, похожий на Зейна по силуэту, но без той ночной мягкости. Кофта была надета аккуратно, волосы уложены, взгляд холоден – как будто он натянул на себя броню, которую снимал вчера вечером.

– Доброе утро, – сказал он, и в голосе не было ни тени тёплого оттенка. Слова были ровные и дистанцированные, будто он произносит свод инструкций.

Я смотрела на него, и внутри меня было странное, едкое

ощущение: вчера утром было окно, а сегодня – стена. Я хотела подойти, налить ему кофе, спросить – но то, что в моей голове было «подойти», сжалось в узкую полоску сомнений.

– Ты в порядке? – спросила я осторожно. В этом вопросе было больше надежды, чем уличной надёжности: ну хотя бы одно слово, малейшее движение, намёк.

Он помолчал, и в молчании было что-то якобы звучное, как будто он выбирает, стоит ли выкинуть на свет правду или оставить её при себе.

– Всё нормально, – ответил он. И его «нормально» было таким сухим, как трещина в асфальте. – Я занимался делами.

Я попыталась не принять этот ответ в штыки: у каждого бывают «дела», у каждого бывают «друзья», «тусовки», «работа». Я убрала посуду, дала ему пространство для того, чтобы он мог говорить первым, а потом, если захочет, подойти. Но он не подошёл: покинул кухню и ушёл в свою комнату, оставив дверь полузакрытой. Его шаги были быстрыми, ровными – будто он приучил себя держать дистанцию.

Чем дольше он держал молчание, тем громче в моей голове становился скрип мыслей. После той ночи я ожидала хотя бы попытки: «как ты?», «спокойная ночь?», маленького отчёта о состоянии. А его уход словно говорил: «Всё, разговор окончен». И меня рассердило – не только потому, что я надеялась, а потому, что вчера мы приняли решение пытаться, а сегодня его действия показывали обратное.

Я вытирала тарелку чуть грубее, чем нужно, и чувствовала-

ла, как в пальцах появляется раздражение. Несправедливо? Может. Но человек, который защищал тебя, а потом снова строит баррикады – это раздражает. Я села за стол, открыла блокнот и посмотрела на правила.

Правило №5 – «Договариваться, даже если это больно».

Правило №6 – «Просить, не ждать».

Правило №7 – «Замечать следы».

Я подчёркивала каждое красной ручкой. Вчера я выбрала договариваться, но сегодня я уже могла почувствовать, как это договаривание под угрозой.

Часы на стене тянулись томно; день был солнечный, мир за окном – ленивый воскресный, студенты шли по улицам, кто-то с собакой, кто-то с утренним кофе. Но внутри было странное ощущение: дом – это арена, и в ней – мы оба по очереди пытаемся занять контроль.

Я провела день в комнате. Не потому что хотела спрятаться (что тоже было бы правдой), а потому что мне было нужно перевести дыхание исходя из того, что могло быть началом новой битвы. Комната стала моим островом: ноутбук, блокнот, чашка с остывшим чаем. Я включила музыку тихо – такую, что помогает сосредоточиться – и попыталась написать.

Но слова не шли: их рвало, как на старой пленке. Я читала старые заметки, перечитывала первую главу, где я пыталась нарисовать героиню сильной. Сильная – это когда не срыва-

ешься на крик, когда выбираешь разговор. Но что делать, если собеседник исчезает?

Время тянулось медленно. Я поочередно убирала стопки бумаг, стирала пыль, пересобираала сумку. Это было отвлекающее занятие: руки делали движение, а голова – думала. Думала о том, как легко разрушать договорённости, как легко закрывать двери. Я вспоминала его синяк, его разбитые «котяшки», и вдруг понимала, что мои «нравится/не нравится» – это мелочи по сравнению с тем, что может с ним происходить на улицах ночи.

Ближе к обеду внутри квартиры всё ещё было тихо. Иногда до меня доносились басы музыки, смех, голос его друзей – то, что я уже научилась называть «вечерними ритмами». Я попыталась не реагировать, но потом – хаотически, внезапно – раздался слабый стук по двери моей комнаты. Тот стук, который я так тщательно заранее «зарыла» – сама утвердила, что не буду открывать, если не хочу. Сердце замерло нелепо: кто-то постучал, тихо, но настойчиво.

Я не отвечала. Сначала услышала тихое шуршание, затем более точный голос – Зейн.

– Иви, – голос был приглушён. – Давай поговорим.

Его голос – он был нейтральным как будто, не требовал ответа, он скорее заявлял намерение. Я не открыла. Я была готова к слову «давай», но не к тому, что оно будет содержать в себе либо «обвинение», либо «отвлечённость». Молча сидеть и не отвечать – это было моё решение: иногда молчание

объясняет всё лучше, чем слова.

Он постоял у двери, и я услышала, как он вздохнул. Через пару минут – снова стук, на этот раз более жёсткий.

– Пожалуйста, Иви. – теперь голос его звучал уже более настойчиво. – Я не хочу, чтобы между нами было молчание.

Я чувствовала, как внутри меня зарождается сопротивление: «Он не может требовать, чтобы я простила отсутствием реакции. Он сам не сделал нужного шага». Я молчала. Молчание – это защитная реакция, как шрам, который закрывает рану, но внутри остаётся пустота.

Прошло ещё несколько минут. Я слышала, как он подходил ближе к двери, как его дыхание становилось ровнее и тяжелее. В один момент он сказал через дверь ровно:

– Ладно. Ну и к чёрту тогда всё.

Слова эти прозвучали как сброшенный камень. Они не были криком, не были гневом; они были похожи на сдачу. В его голосе не было борьбы – только уставшее «я не буду больше бороться». Это было страшно: услышать, как человек, который вчера казался готовым договариваться, сейчас просто сдался. Я ощутила странную пустоту и одновременно – острую, свинцовую боль в груди. Договариваться – значит пытаться; а он, похоже, решил, что попытки не стоят свеч.

Я не открыла дверь и, может быть, в этот момент – может быть – он и ушёл. Я не видела, как он провернул замки, услышала только шаги, потом звук двери. В квартире снова стало тихо. Но это «тихо» было иным: не привычка, не уют,

а пустота, которую невозможно заполнить ни музыкой, ни книгами.

Я легла на кровать, закрыла глаза и чувствовала каждую клетку своего тела как маленький шрам, который только начинает звонить.

День тянулся в бесконечно. Я провела его в комнате: писала в блокнот, перечитывала наши правила, вычёркивала, добавляла. Каждое правило теперь казалось не просто надписью, а отголоском: «Договариваться» – как напоминание, «Просить, не ждать» – как крик из глубины. Я перечитывала то, что записывала вчера ночью: *«Правило №8 – не оставаться в стороне, если кто-то рядом ранен»*. Я обнаружила, что сама не умею применять эти правила, когда эмоции чересчур свежи.

В один момент я поднялась, пошла в кухню, сделала себе чай и, не удержавшись, посмотрела на телефон: сообщений от него не было. Ни «всё хорошо?» ни «извини, я нечаянно». Ничего. Только пустой экран. Уже после тех слов у двери – «ну и к чёрту тогда всё» – мне казалось, что он ушёл не только физически, но и эмоционально. Мне стало так одиноко, что я вдруг поняла: я не боюсь потерять его как человека, я боюсь, что мы потеряем ту возможность, которую пытались создать вчера.

Я подошла к окну, посмотрела на улицу: редкие прохожие, фонари, отражения витрин. Мир продолжал жить, и в

этом была ирония – всё зовёт тебя двигаться дальше, есть люди, которые идут по своим делам и не знают, как внутри тебя сейчас всё расплывается. Я понимала, что сейчас важнее не то, что он сказал «к чёрту», а что я отреагирую. Сказать «не уходи»? Позвонить ему? Или дать человеку пространство, который сказал, что сдаётся?

Я делала всё, чтобы не прыгнуть в этом конфликте с эмоциями. Холодный ум говорил: «Дай ему время. Он устал, это его реакция. Он придёт позже, и тогда вы поговорите». Тёплая часть меня хотела подняться, ринуться вниз и искать, чтобы сказать: «Не сдавайся». А юная часть – та, что помнит чулан и страх темноты – боялась внезапных бурь и хотела перестраховаться. Все эти слои внутри меня боролись, и я не знала, кому отдать приоритет.

После полудня я попыталась уснуть, но тревога делала своё дело: мысли скакали, как обезумевшие птицы. Я представляла сценарии: в одном он возвращается и говорит, что всё в порядке; в другом – что он искал «покой» в пузыре с друзьями и возвращается, более напуганный, чем раньше; в третьем – что он уйдёт из квартиры на несколько дней и это будет конец истории. Каждый вариант был болезненным по-своему.

Время шло медленно. Вечер подступил, и я поняла, что день прожит на грани ожидания. Я набрала номер Наи, потому что она всегда умела подставить плечо и вернуть мой мир в плоскость, где разговоры были мягче. Она ответила

через пару гудков, её голос был солнечным, но я выплеснула на неё больше сарказма, чем хотелось.

– Всё нормально? – спросила она, и в её голосе читалось: «Всё не в порядке, если ты звонишь», – это была её добрая ирония.

Я вздохнула.

– Он ушёл. Сказал «ну и к чёрту тогда всё» у моей двери. И ушел.

– Ох. – Тишина в телефоне была тяжёлой. – И что ты сейчас чувствуешь? – спросила она тихо, как будто боялась дать ответ, который разобьёт.

– Я чувствую пустоту, – сказала я честно. – И обиду. И страх, что движение назад – это конец.

Ная вздохнула и предложила прийти.

– Я в 20 минутах, возьму пиццу – и вообще, давай соберём маленькое подпоручительство, – и её шуточный план звучал так, как будто она предлагает чинить вещи подручными средствами. – Будем смотреть кино, есть еду, и если хочешь, могу постоять у твоей двери, чтобы ты не думала, что он ушёл навсегда.

Я согласилась. Её появление было как спасательная шлюпка: маленькая, но плотная, и было тепло думать, что сейчас придёт кто-то, кто умеет слушать. Она пришла, действительно принесла пиццу, и мы сидели, смеялись, говорили о пустяках. Но где-то в уголке головы был голос: «А если он не вернётся?» и «А если всё действительно кончено?» –

и эти голоса не давали мне покоя.

Ночь пришла и убаюкала город. Где-то вдалеке слышались редкие машины, чьи-то телевизоры – тихие и ровные как фон. Мы смеялись с Наей и делали вид, что всё в порядке, но я видела, что она внимательно слушала сердце моей тишины: у друзей есть это редкое умение – видеть малые трещины. Ная в какой-то момент сказала:

– Он ребенок-внутри.

И я поняла, что она имеет в виду: у него есть те места, которые он не умеет защищать иначе, кроме как кулаками и дистанцией. Это не оправдывает всё, но даёт объяснение.

Когда Ная ушла, я осталась одна. Пустой дом, мой блокнот, список правил, и последнее, что я придумала: *«Правило №9 – не давать чужой сдаче разрушить договоры»*. Это было очень сложно. Я знала, что люди сдаются. И я знала, что одна сдача может обернуться концом, если не попытаться вернуть диалог. Но как тянуться, если человек не отвечает?

Я отключила основной свет и легла, но сон не шел. В голове крутились слова, которые он сказал ночью и слова, которые он сказал у двери «ну и к чёрту тогда всё». Я пыталась понять, где прошла грань. Может, он был напуган тем, что случилось в моей комнате с тем парнем; может быть, он посчитал это доказательством того, что наш дом – не безопасное место. И это обидно: кто же не хотел защитить? Но он сам стал той силой, которая ранила. Парадокс.

Я закрыла глаза и позволила мыслям медленно успокоиться. Я представляла, что завтра – новый день. Что я сделаю: скажу «давай поговорим»? Скажу «я не хочу терять»? Или буду ждать его первых шагов? Вопросы множились.

И в тишине, перед самым засыпанием, я записала последние строки в блокнот:

Правило №9 – не давать чужой сдаче разрушить наши договоры.

Правило №10 – если он говорит «к чёрту», спросить: «Что ты имеешь в виду?»

Я не была уверена, что это спасёт. Но знала одно: если я хочу сохранить, я должна действовать. И если он сдался, то, возможно, это была не финальная точка, а приглашение проверить глубже. Завтра я попытаюсь сделать шаг. Может, он вернётся с выцветшими извинениями. Может, он вообще исчезнет. Но сейчас, пока ночь держит город в ладонях, я учусь быть терпеливой и сильной одновременно. И это, возможно, самое трудное, что мне приходилось делать.

Я просыпаюсь не от будильника и не от кошмара – от чужого голоса. Он доносится тонким шёпотом сквозь стены, и сначала я не понимаю, где я, кто говорит и почему вдруг в голове щёлкает цепь: «не сейчас, не сейчас». Время какое-то нелепое – между глубокой ночью и утратой сна, когда всё кажется слишком сырым, чтобы решать. Я лежу, глаза закрыты, но уши насторожены, как у пленного зверя.

Зейн закрыл дверь скорее тихо, чтобы не разбудить весь дом. Но его шаги – другие, они легки и уверены, не те, что были утром. Еще второй голос – негромкий, по телефону, но в нём слышна напряжённость, как у человека, который балансирует на краю и пытается не сорваться. Я тянусь за блокнотом по привычке, пальцы натываются на тетрадный край, потом снова опускаю руки. Подслушивание – грубый жест, но мне не хочется вставать, не хочется быть замеченной; я просто слушаю.

«Он в порядке?» – слышу сначала тихое, вопросительное. Это голос Зейна. Там нет привычного фырканья, нет и шутовой маски – только деловой тон, притворно ровный, но в нём слышится почти детская торопливость.

«Да, он чисто входит, – отвечает собеседник, и я не знаю кто это: мужчина или женщина, молодой или нет. Голос другой, деловой. – Сегодня ровно, всё как договорились. Тебе надо зайти?»

Я пролистываю разговор наизнанку: «всё как договорились» – это звучит как сухая фраза из криминальной хроники. Я вижу в уме ребро ночи, жар и чужие кулаки – и понимаю, что слово «боец» уже не метафора.

Зейн снова: «Нет, не сейчас. Я хочу быть там лично. Скажи, чтобы он подготовился, не перегрелся, и пусть там будет врач, на всякий случай. Без большой крови, понял?»

Я сжимаюсь. «Врач» – это уже не шутка. Я представляю себе коридоры подземных залов, где запах пота кажется нор-

мой, где люди аплодируют не театру, а боли. В ушах начинается гудеть, и мне хочется вскочить, кричать, чтобы он остановился, но в горле – пусто. Слишком много раз я слышала «я справлюсь» и видела в нём раны. Почему он ещё доказывает себе своё существование?

– Хорошо, – слышу ещё, – всё под контролем. Я буду.

И в эту паузу его дыхание звучит мне через стену как доказательство его жизни. Я опираюсь на подушку, медленно выравниваю вдохи, как будто это урок дыхательной гимнастики. «Наблюдать, не вмешиваться» – звучит в голове правило №?. Я не помню номер, но запоминаю суть.

Он говорит ещё пару фраз об оплате, о месте встречи, и я ловлю фрагменты: «честно», «без фанатизма», «он хочет выйти без перелома». Это ужасно – слушать в ночи чужие договоры о том, как сломать человека и не сломаться самому. И всё же голос Зейна иногда звучит заботливо: «береги его» – и тут что-то внутри меня сжимаются. Как можно заботиться о ком-то и одновременно отправлять его в бой?

Я прислушиваюсь: дверь тихо захлопнулась, шаги удалились. Сердце моё барабанит. Я стараюсь не шевелиться, не издавать звуков, чтобы он не услышал и не повернул голову; но чувствую же, когда угроза – она не всегда о физических ударах. Угроза – это когда ты узнаёшь правду о человеке, с которым делишь кухню.

Проходит несколько долгих минут. Я не двигаюсь. Пустота вокруг меня – как прозрачная пелена, в которой хорошо

видно все предметы: лампа, блокнот, карандаш, который я зажимаю в пальцах. Я ловлю ритм собственного сердца: бум – пауза – бум, и мысленно начинаю раскладывать то, что услышала.

«Не говорить сейчас», – шепчет голос разума. «Подождать». Я стряхиваю с себя порыв разгромить его комнату вопросами и вместо этого достаю блокнот, потому что это именно тот инструмент, что помогает выжить: писать. Я делаю короткую заметку: «Подслушала – бой. Не поднимать тему сейчас. Наблюдать. Зафиксировать следы.» Рука дрожит, когда пишу, и слова кажутся тяжелыми.

Я всегда умела замечать следы: отпечатки на ручках, пятна на воротнике, запахи. Но теперь эти следы выглядят как дороги в другое, опасное место. Я вспоминаю синяк на его скулах, «разбитые котяшки» на руке; он говорил что это бар, случайность – но мелькания слов «бой», «боец» и «врач» – они складываются в картинку сильнее простых оправданий. Я переворачиваю лист, делаю маленькую галочку и чувствую стыд: почему я шпионю? Почему мне не хватает смелости спросить прямо? Боюсь испортить. Боюсь сделать шаг, который разрежет то, что может быть началом другого. Боюсь услышать «я один» и где-то согласиться с этим.

Я выключаю основной свет в комнате. Непривычно темнеет. Тень от лампы ложится на стену – как чёрная полоса, что делит наше пространство на «его» и «моё». Я лежу в тишине и снова слушаю. Вдали слышна музыка, но приглушённо.

ная, как будто кто-то пытается оставить веселье в гостиной, не зная, что в моём сердце уже началось другое. Думать – это опасно, потому что иногда мысли сами просят действия. Моя мысль сейчас просит – не говорить, не разжигать, наблюдать.

Я не верю, что он специально хотел, чтобы я слышала. Скорее, стечение обстоятельств, тихая ночь и его деловые нотки. Но у меня есть странная сила – я умею ждать. И знаю, что рано или поздно правда сама вспомнит о себе. Сейчас лучше не срываться. Если я выйду сейчас к нему с вопросами, он закроется и замкнется; если я буду молчать – возможно, он сам придёт и расскажет.

Но страх – змея, которая любит молчание: если её не кормить словами, она найдёт способ укусить. Я не хочу, чтобы это было шипением моей агрессии.

Я переворачиваюсь на бок, блокнот кладу под подушку – чтобы, если сон выскочит, было куда записать ночь. Сон идет медленно; мысли бряцают, как цепи. Я слышу, как в коридоре снова шаги: не его, нет – другие, смех, шепот. Они, видимо, собираются на новую «встречу», я не знаю. В голове снова промелькнул его голос: «береги его» – и тогда мне кажется, что между ним и остальными есть и доля правды; он действительно беспокоится о тех, кого отправляет в бой. Но разве это оправдание?

Я вспоминаю всё: его защитное «ты мне не пара», его резкие границы, и ту внезапную, неумелую заботу, что он про-

явил вчера. Всё сложилось в пазл, у которого ещё не хватает кусочков. И один кусочек – это правду о боях. Я знаю, что если достану этот кусочек сейчас и приложу к картинке, может, она станет ужасной. Но, может, без него я не смогу понять его по-настоящему. Желание знать – ядерное, но разум шепчет: «Подожди. Пока нет нужды рвать нитки».

Я закрываю глаза, но не позволяю себе заснуть сразу. В темноте я тянусь к памяти, вспоминаю как он шел, когда впервые перестал шутить, как сжимала губы ночью. Я пытаюсь построить причины: детство, пустота, потребность чувствовать себя живым. Это не оправдание, и я не готова к оправданиям. Но я уже не могу поверить, что он – только маска, только флирт и вечеринки. Человек – сложнее, и иногда в его сложности есть опасность.

Ночь катится дальше. Я слышу, как в гостиной падает что-то – может, банка, может, стекло. Сердце мое подскакивает, но я умело приглушаю реакцию. «Не вмешиваться», – повторяю я себе как мантру. Это не равнодушие, это стратегия. Я не хочу, чтобы в нашей квартире один человек был дворником чужих ошибок.

Утром будет другое. Утром можно будет взять тот листок с записями и задать ему – не обвинение, а вопрос. Но утром – это завтра, и завтра иногда приносит ответы. Сейчас же – ночь, и я тихо записываю в блокнот последнюю мысль: «Слушать, но не разоблачать. Это его битва, пока что. Я – наблюдатель». Я подпишу это как-то иначе – не правилом, а замет-

кой. Потому что слово «правило» звучит жестко, а я ещё хочу, чтобы между нами были мягкие места.

У меня сковывает горло, когда в голове много мыслей – они толкаются и перекрывают друг друга, как занавеси на ветру. Чай остыл в кружке, я переложила её на стол, но горло по-прежнему пересохло. Надо попить. Я встала, натянула халат и осторожно открыла дверь комнаты.

За порогом – крошечная тьма. Не полумрак, не «немного сумрачно», а именно тот плотный, горячий, выпирающий мрак, который закрывает вещи и превращает знакомые углы в чужие. Сердце мгновенно подпрыгнуло: дыхание сбилось, ладони стали влажными. То ощущение – детское, бесспорное – как будто кто-то нажал на меня невидимую кнопку страха. Ноги подкашивались, и я на ощупь шагнула к стене, рука искала выключатель.

Пальцы касаются холодной поверхности. Я трогаю пластик, провожу по нему, и пальцы всё ищут и ищут – там пусто. Где-то в темноте – голос. Его голос: низкий, сухой, и от него сразу становится холодно по коже.

– Не включай этот чертов свет, – прозвучало из тьмы. Три часа ночи, и он говорит это спокойно, без паники, будто приносит инструкцию для машины. Голос не злой; он ровный, почти шутливый. Но в моих ушах это – удар.

Я ощущаю, как слёзы сначала собираются, а потом катятся. Не потому что он сказал «не включай», а потому что мне страшно – так страшно, что маленькая девочка в моём теле

снова просит: «Пожалуйста, не оставляй меня в темноте». Шёпотом, голос дрожит, я говорю ему:

– Зейн... это не смешно. Я не могу так. Я не могу.

Тишина от него на мгновение. И потом – смех. Но это не злорадный хохот, не издёвка. Это короткий, странный звук, будто кто-то пытался улыбнуться сквозь усталость.

– Ох, ну – смеётся он негромко, – прости. Я не хотел. Я просто думал, что... – и как будто он сам ищет причину.

И тут всё внутри меня взрывается маленьким, но точно нацеленным флешбеком: тёмный павильон музея, экскурсия в старшей школе, детские шаги, мои пальцы, которые скользили по стене, и его голос – громкий, уверенный, разрезающий тишину класса: «Ха, Иви, боишься темноты? Спрячься, и мы тебя найдём! Тебе как будто пять лет, это смешно!» – и весь класс, и эти замечания, и смех, и меня – стоящую в уголке, покрасневшую до корней волос, пытающуюся не плакать, потому что плакать – означало быть смешной, а смех – означал, что тебя запомнили как слабую. Эта шутка потом шла за мной как тень: лайки, подколы, короткие насмешки в коридорах – и я научилась прятать себя, будто это было стратегией выживания.

Я отступаю в темноту, дышу тяжело, и слова из прошлого бьют по мне снова, как мокрая тряпка. И здесь, посреди ночи, когда я уже думала, что могу отпустить, он смеётся – и смех этот всплывает у меня вместо музыки. Я не могу держать это в себе.

– Ты помнишь в школе? – вырывается у меня, остро, как крик в тишину. – В темном павильоне. Ты смеялся тогда. Ты шутил про меня при всём классе. Что в свою очередь принесло кучу издёвок после. А ты когда-нибудь задумывался о причине?

Слова летят в темноту. Я жду, что сейчас он оправдается, что скажет «нет, я не помню» или «ты все напонила по-другому», но в его голосе слышится удивление – не злость, а именно удивление, как будто он действительно не соотнёс это вместе в своей голове.

– Я... я не знал, – отвечает он тихо, и это признание звучит шокирующе простым, почти неправдоподобным. – Я не помню, чтобы так получилось. Если я сказал... я, должно быть, не думал.

Его удивление не снимает со мной воспоминания, не стирает тот звук смеха в коридоре и не спасает от чувства, что меня предали – и при этом я чувствую и другой, парадоксальный импульс: может быть, он действительно не понимал? Может быть, это была та же легкомыслия, что свойственна молодости: сказать шутку и уйти, не представляя, какую рану оставишь. Но это знание – не оправдание. Для меня тогда это было унижением, а унижение – это метка, которую не стирают фразами «я не помню».

Я слышу, как он делает шаг; в темноте щёлкает что-то – может быть, он подходит ближе, возможно, хочется увидеть, как я реагирую. Я не вижу, но ощущаю присутствие. Слезы

давят, и в голосе моём только железная доля гнева смешивается с уязвимостью:

– Это было не смешно, – говорю я тихо, но твердо. – Это было ужасно. И ты помнишь это как шутку? Как тебе это кажется нормальным?

– Я не думал о последствиях, – отвечает он, и теперь в его голосе слышится усталость. – Я не хотел сделать тебе больно. Я... если бы знал, я бы не говорил.

Удивление в его голосе имеет оттенок раскаяния. Но я не могу сразу поверить. В голове борются две картинки: он, который сейчас сидит у двери, и он, который однажды рассмешил класс. Не знаю, есть ли место для него в этой новой картинке. Я чувствую, как внутри меня собирается ярость – не ради унижения в прошлом, а ради того, что это снова случилось: кто-то смеялся, кто-то не подумал, и я – снова та, кто держит шрам.

– Ты просто не думаешь, – вырывается у меня. – Ты говорил тогда, и ты не думаешь сейчас. Может, ты забыл – но я не могу забыть. Ты сделал так, что мне было больно годы. Это не шутка. Это следы.

Он замолкает. Я слышу, как его дыхание учащается, слышу как он, возможно, ловит себя на том, что сделал больно. На мгновение мне кажется, будто он мимолетно показывает кусочек другой души – не этой холодной, не этой самодовольной, а ту, которая отрекается уязвимости. Я хочу поверить, но какая-то часть меня уже выучилась быть осторож-

ной.

Я злюсь не только на него, но и на себя: за то, что позволяю старыми ранам править моим ночным миром; за то, что влезаю в чужие разговоры; за то, что снова рвусь, когда можно было бы просто закрыть дверь и лечь. Моё дыхание превращается в мелкую дрожь. Я огрызаюсь, потому что так легче не плакать:

– Ладно. Я не хочу слышать это сейчас. Мне достаточно. – Я делаю шаг назад в темноту и почти бегом возвращаюсь в комнату, чтобы закрыться за дверью. – Мне нужно побыть одна.

Дверь нажимается, и её щелчок отдаётся в комнате так громко, как будто бы это всё был финальный аккорд. Внутри меня буря – раздражение, обида, и теперь ещё больше страха: страх, что если дать ему второй шанс, он снова шуткой вырвется наружу и снова сделает мне больно, даже не заметив. Я ложусь на кровать, слёзы наконец прорываются, но не горячим потоком: мелкими каплями, которые солятся с подушкой и будут там потом – как маленький атрибут ночи.

Я не знаю, что он чувствует в этот момент: в его голосе было удивление, может быть – сожаление. Но мне нужно время. Мне нужно, чтобы ночь отступила, чтобы я могла снова быть логичной и не настолько реактивной от каждой тени. Я чувствую, как помещаю этот эпизод в отдельную коробку: «Шутки, которые оставляют след». Вытаскивать её буду не сегодня.

Перед тем как заснуть окончательно, я хватаю блокнот. Пишу крупными буквами, потому что ночь всегда требует чёткости:

«Правило № 11 – не позволять чужим шуткам становиться моей травмой вновь. Просить объяснения, когда готова. Не молчать.»

Под подписью делаю пометку: утром – спросить. Но не обвинять. Сначала – понять, потом решать.

Я слышу ещё один тихий шаг в коридоре – возможно, он проходит мимо моей двери, возможно, возвращается к своим мыслям. В темноте я чувствую себя и слабой, и сильной одновременно: слабой, потому что страх ночи снова пришёл ко мне, и сильной, потому что я сказала «нет» и ушла. Это не победа, но это действие. И иногда достаточно сделать шаг, даже если он маленький и шаткий.

Ночь снова спускается на меня, и медленно шумы утихают. Я засыпаю под лёгкое эхо его прежнего смеха и под собственное решение – не дать прошлому просто так убить то, что может быть между нами. Утро покажет, вернётся ли он с объяснением. Пока же я держу своё тёмное место закрытым и учусь дышать в темноте.

Глава 6 – "Игра в нормальность"

Кофе перестал быть напитком – теперь он превратился в состояние. Большие кружки – пустые, лежащие в беспорядке, как трофеи бессонницы. Мой ноутбук светился голубым, страницы в блокноте были исписаны до самых краёв: имена, цитаты, вопросы, которые я ещё не умела задавать. Пальцы давно приросли к ноутбуку – будто если отпущу, текст сбежит от меня первым поездом

За стеной гремел другой ритм: ритм ножа по картону. Иногда звук напоминал барабан, иногда – царапанье и шёпот чего-то, что пытается принять форму. Музыка – громко и без стыда – поднималась и опускалась волнами. Это была его музыка: никакой деликатности, только удар, бас и мелодия, которая, кажется, учится быть комнатой.

Я не склонна к долгим размышлениям о смысле вещей – предпочитаю смотреть на реальность прямо. В этой двухкомнатной дуэли мы были как два странных механизма, настроенные на одну и ту же бессмысленную гонку: с часами, с ожиданиями, с собственным перфекционизмом. Я стучу по клавишам, будто пытаюсь зафиксировать мысли на гвозди, он разрезает картон так, будто каждое движение оставляет маленький шрам. Мы оба боремся с чем-то до утра, только у каждого свои инструменты и почти одинаковые шрамы, о которых не говорят вслух.

– Ты можешь хотя бы сделать музыку потише? – спросила я, потому что вежливо было указать на акустическое насилие.

– А ты можешь перестать стучать по клавиатуре, будто собираешься пробить ею стол? – он отвечал так, как будто это шутка, но в его голосе то и дело проступала усталость.

Ответы были короткие, потому что ни у кого из нас не осталось сил на длинные речи. Вечер сгибался в сторону рассвета, и сарказм вытекал естественно, как масло по сковороде. Но между этими короткими ударами слов вдруг промелькнуло нечто похожее на уважение – мимолётное, почти невидимое: оба знали, что другой горит своим делом не меньше.

В какой-то момент я заметила, что в углу стола лежит его лезвие, рядом – клей, рядом – фрагменты макета, которые могли бы стать картиной абстрактного мира. Пыль от бумаги попала на ладонь, казалась плотной и сладкой, как запах городского дождя, когда он только начинался.

К утру квартира выглядела как поле битвы: на кухне – пустые тарелки и картонные обломки; на полу – мешочек с инструментами, у порога – моя эспрессо-машина с каплей кофе на кофейной ручке. На моём блокноте, среди моих записей, кто-то оставил небрежный набросок – дом. Тут была только простая линия крыши и криво очерченная дверца, но в контексте моих пометок это выглядело как непрошенный знак сочувствия. Я не была уверена, чья это рука – мужская, грубо-

ватая, но аккуратная достаточно, чтобы не порвать бумагу.

Я не спросила. Спрос – это маленький мост, по которому нужно пройти. Я ещё не знала, хочу ли я идти по нему с ним.

Когда мир вокруг начал светлеть, я записала в блокнот новое правило, едва слышно, для себя, чтобы не забыть: «Замечать следы – даже там, где их не ждёшь». Это было не признание, больше – наблюдение: следы остаются, даже если их оставляют люди, которых ты хочешь не замечать.

Он ходил по квартире так, будто каждая полоса на его коже – это карта вечера. Его рука была в следах клея, ногти короче, чем обычно; на локте – тёмное пятно, похожее на высохшую краску. Он молча подошёл к раковине, включил воду, промыл руки и посмотрел в своё отражение в стекле чем-то между раздражением и непроизнесённой усталостью. Я видела только часть лица – угол челюсти, два тёмных лука над глазами. И мне вдруг стало ясно, что под этой грубоватой бронёй – человек, который держит равновесие на краю.

– Ты спишь? – его голос был тихим, когда он повернулся ко мне. Вопрос не просил пропуска; он скорее проверял, не сторел ли я уже.

– Почти, – ответила я. Почти – потому что слово «почти» умеет хранить надежду, и это важно.

Мы оба знали, что завтра снова будем притворяться, будто это всё – обычная рутина. Но сейчас, в тишине, между первыми лучами рассвета и тихим запахом кофе, возникло что-то другое: не доверие, не дружба, а скорее тихое признание

того, что мы оба этим живём. Просто понимание: «ты тоже стараешься, и это важно»

Я не собиралась проговаривать новую мысль вслух – правила легче держать в чернилах, чем в воздухе. Закрыв блокнот, я оставила набросок дома как маленький маркер: дом – это не только стены, но и кто-то, кто оставил карандашный след в твоих записях и просто встал утром, не давая объяснений.

Завтра дедлайн. Мир не ждёт драм и не спешит с пониманием, а пока – картон, клей, клавиши и музыка. Мы делаем, потому что иначе можно было бы просто сидеть, смотреть на часы и притворяться, что время само что-то исправит.

Я вернулась домой с ощущением пустоты и лёгкой победы: «сдала». Ная шла рядом с двумя большими чашками. Она протянула мне одну, и запах корицы сразу сделал момент домашним и спокойным.

Мы вошли, и квартира встретила нас тем же мягким светом: лампа в углу, пар от недопитого кофе, в углу – крошечный хаос из картона и бумаги. На столе лежал мой блокнот с наброском домика; кто-то аккуратно подвинул его к краю, так что лист ловил свет и выглядел почти нарочно приветливым.

– Ты вернулась, – услышала я голос. Он сидел на диване в сером свитере, смотрел в окно, но сразу перевёл взгляд на нас. В его голосе не было ни едкой нотки – только спокой-

ный, ровный тон, как будто просто констатируют факт.

Ная, которая умеет разговаривать с людьми так, будто знакомится с будущим, сделала шаг вперёд и протянула руку.

– Привет, я Ная. Я – её постоянный спутник по кофе и творческим авралам.

Зейн посмотрел на её руку, затем улыбнулся так, будто улыбка не была чем-то заранее отрепетированным.

– Ная. Рад знакомству. И рад, что у Иви есть подруга, – сказал он и поставил ладонь на коробку с макетом, как будто проверял, держится ли всё на своих местах.

Это «рад, что у Иви есть подруга» прозвучало простым и немножко чужим – и именно поэтому два ударных кусочка в груди у меня и у Наи мигом сжались от удивления. Ная впервые замялась, а я почувствовала, как губы сами складываются в улыбку, которой не было в расписании.

– Ух ты. Это... неожиданно, – пробормотала Ная, всё ещё сжатая ноткой «что за черт».

– Не надо драм, – помолчал Зейн, затем, как будто добавляя броню к слову, простым голосом сказал: – Ухожу на несколько часов. Есть вещи, которые нельзя отложить. Не жди меня, Иви, ладно?

Фраза зависла в воздухе, ровная и неожиданная, как окно в тихий холодный вечер. Я дернулась, но не от страха – просто «не жди» звучало так, будто он тихо закрывал одну дверь и открывал другую, ведущую куда-то далеко за пределы нашей кухонной географии.

Мы с Наей переглянулись. Его тон был странно спокойным, не требующим объяснений, но в нём чувствовалась какая-то мягкая забота, будто он предупреждал, а не отстранялся.

Он встал, словно собирался сделать что-то простое, и направился к плите. Ная тихо положила булочку на тарелку, а я вдруг заметила: я даже не сказала вслух, что сдала работу. То самое «я справилась», которое обычно только ревёт внутри или проскальзывает через кофе и пустой взгляд, теперь оказалось здесь, между ними, как будто часть чужого сценария, и мне пришлось научиться говорить это спокойно.

– Я сдала, – сказала я, потому что нужно было хотя бы вслух зафиксировать факт. Сдача не звучала громко, но в ней было облегчение, которое почти можно было потрогать.

Он кивнул, и в этом кивке было что-то большее, чем просто признание: он видел, понял, принял.

– Хорошо, – сказал он тихо, спокойно, без давления. – Отдохни. И не жди меня. Я не хочу, чтобы твоя жизнь зависела от того, прихожу я или нет.

Слова легли в кухню мягким, почти невидимым шёпотом, и я вдруг поняла, что этот момент – совсем другой, чем все наши столкновения до сих пор имеют место быть.

Ная посмотрела на меня, и её глаза стали мягче, но в уголках всё ещё скользнуло недовольство – та самая смесь «не понимаю, как ты так спокойно можешь это принять».

– Это звучит резко, – пробормотала она. – Ты хотя бы объ-

ясни...

– Объяснений нет, – сказал Зейн, но голос стал удивительно мягким. – Они существуют где-то в другом месте. Сейчас мне нужно уйти по делам. Точка.

Он поставил рядом с нами ещё одну тарелку – для меня – и вдруг этот простой жест выглядел почти магически: тепло еды смягчало остроту момента, делая всё вокруг чуть более мирным. Ная не удержалась и плюхнулась на стул, обхватив тарелку руками, словно это была временная защита от сюрпризов.

– Хорошо, – сказала я тихо. – Я не буду ждать.

Слова прозвучали ровно так, как нужно – не вызов, не капитуляция, просто факт. Но внутри щёлкнуло: «не жди» проложило новую линию в моей картине мира, где он – точка на маршруте, а не часть дома. И этого было достаточно, чтобы внутри меня замигала лампочка тревоги и одновременно – странная благодарность: он сдержан, не требует, не манипулирует, не предлагает спасение.

– Удачи там, – сказала Ная, пытаясь встряхнуться в привычку оптимизма. – И если что, мы тебя не будем преследовать в соцсетях. Шучу.

Зейн слегка улыбнулся, этот раз уже по-настоящему. Он взял свой рюкзак, поправил ремень и остановился в дверях.

– Если что – напиши, – сказал он, и в этом не было ни требования, ни давления. Просто тихое: «я рядом, если нужно».

И ушёл. Дверь закрылась мягко, как будто и она устала от

лишних драм.

Мы с Наей остались на кухне, где ещё пахло корицей и клеём. Ная выдохнула длинно и, не смотря на своё «мы не будем преследовать», взяла меня за плечо.

– Ты в порядке? – спросила она, но её голос был уже спокойнее.

– В порядке, – ответила я, и слово звучало правдой, если повернуть его лицом к настоящему моменту: я сделала работу, у меня есть друг рядом, и кто-то оставил на моём блокноте набросок дома. Это мало, но достаточно – чтобы начать укладывать новую карту жизни.

Я взяла кружку, и чашка в руках казалась теплее, чем просто чай. За окном море отбивало свет – и это было то, что не подчиняется ни «не жди», ни отъездам. Это просто присутствие, которое остаётся.

– Ты заметила это? – шепнула мне Ная, глядя на него из-под ресниц. – Он... он вроде бы не шутит, не отшучивается... просто... мягкий.

Я кивнула. Слова не приходили. Всё, что могла – это ощущение тепла, маленькой безопасности, которой мы раньше не давали ему права на проявление.

– Он вообще так может? – продолжала Ная, а я только улыбнулась, потому что внутри щёлкнуло что-то странное: «может». Может быть, он умеет быть не только «мистер отвали я одиночка».

– Он, – сказала я тихо, – такой, каким я никогда не думала,

что его увижу. И это... это странно приятно.

Мы сидели молча, ели пирог, а где-то за окнами ночь сгустилась мягким бархатом. И в этом тихом моменте, между ароматом корицы и теплом тарелок, я поняла: иногда люди показывают себя не сразу, и порой этого достаточно, чтобы поверить – мир может быть чуть мягче, чем ты думала.

Я шла рядом с Наей, ощущая лёгкое тепло после того странного, почти нереального момента с Зейном. Всё ещё звенело где-то внутри – эта его тихая мягкость, чашка, тарелка, слова, которые не требовали ничего, кроме жизни. Я старалась не думать слишком громко, потому что Ная сразу бы заметила, а она любит комментировать всё и вся.

– Знаешь, – сказала Наи, глядя на меня с этой смешанной улыбкой «ты опять куда-то улетаешь», – у тебя прямо прилив нежности какой-то был. От Зейна, ага. Я вижу.

Я закатила глаза, но не смогла сдержать улыбку:

– Прилив? Ммм... да, можно и так назвать. Только прилив какой-то странный, с запахом кофе и тихого безразличия.

Ная фыркнула:

– «Тихое безразличие» – это новый способ сказать «он не собирается тебе ничего объяснять»?

– Нет, – сказала я, ощущая, как шевелятся слова в голове. – Это скорее «он не просит, не манипулирует, просто существует, и это неожиданно приятно».

Ная нахмурилась, потом рассмеялась:

– Иви, это почти как цитата из какого-то романтического фильма, который мы никогда не посмотрим.

И тут пискнул телефон Наи. Она глянула на экран и засияла:

– Джеймс! Он предлагает нам прогуляться по городу. Говорит, мол, не ночь дома сидеть, а свежий воздух, веселье, музыка.

Я сжала свои пальцы вокруг стакана и подумала: почему нет? «Веселье и музыка» звучало лучше, чем сидеть с головой, полной странных мыслей о Зейне.

– Ладно, пошли, – сказала я.

Через десять минут мы уже шли по набережной. Море светилось отражениями фонарей, а волны шептали что-то своё, совсем непонятное, но успокаивающее.

– Смотри, – сказала Ная, показывая на уличного музыканта, который перебирал струны гитары. – Он что-то играет о любви или о чём-то грустном. Я не могу понять.

– Возможно, это и есть городская философия в трёх аккордах, – усмехнулась я, пытаюсь не думать о том, что философия иногда бьёт сильнее любых слов.

Джеймс присоединился к нам на пару минут позже, с рюкзаком через плечо и широкой улыбкой:

– Привет, дамы. Я слышал, кто-то хочет приключений и кофе?

– Привет, мистер «я-слишком-умный, чтобы опоздать», – сказала Ная. – С тобой приключения всегда неизбежны.

– С меня поднимается цена вашего невежества, – вдруг вставил Джеймс, – Или хотя бы плата в мороженом.

– Плата мороженым? – переспросила Ная. – Ты серьёзно, Джеймс?

– Всегда серьёзен, – ответил он и грозно подвинул рюкзак к себе. – Особенно когда вижу людей, которые фальшиво философствуют.

– Ой, хватит, – сказала я, не удержавшись от смеха. – Нам не нужна твоя «серьёзность» на фоне городских фонарей.

– А что нам нужна, тогда? – подыграла Ная. – Принципиально нелепая прогулка, где всё плохо, кроме мороженого и смеха Иви?

– Сдаётся, – сказала я. – Да, именно так. И пусть ещё кто-нибудь попробует внести философию в это дело.

– Эй, – Джеймс хлопнул меня по плечу, – философия не виновата, что у нас есть Ная, которая умеет делать из всего цирк.

– Я цирк? – возмутилась она, но тут же смягчилась, увидев, как я улыбаюсь.

– Абсолютно, – кивнула я. – Цирк, где мы – главные артисты.

– Но кто директор? – Джеймс посмотрел на нас с хитрой улыбкой.

– Я, – заявила Ная с таким видом, будто подписала приговор.

– Ага, а мы только актёры, – сказала я и вздохнула, на-

слаждаясь этим беззаботным хаосом. – И вроде бы никто не кричит «тише», никто не оценивает каждый шаг.

– Слушайте, а если серьезно, может мороженое? – внезапно предложил Джеймс. – Философия, смех и мороженое – вот наша идеальная формула.

– Ты опять про мороженое, – фыркнула Ная, но в её голосе уже звучала готовность к приключению.

– А что ещё? – спросила я.

– Ладно, – сказала Ная, – тогда марш за мороженым. Философия подождёт.

Мы свернули к маленькой лавке с мороженым, и Джеймс, как обычно, сделал вид, что выбирает самое сложное мороженое. Ная смеялась, а я просто смотрела на их лица, на свет фонарей, на отражения волн, и чувствовала, что город сегодня – наш, а все странные мысли о Зейне стали лёгкими, почти воздушными.

– Ладно, – сказала я, облизывая ложку с мороженым, – кто следующий на шутку про туристов с голубями?

– Я! – крикнула Ная, – они законно занимают свои места, а мы вмешиваемся в их планы.

– Ха, – Джеймс поднял руку, – вмешательство ради искусства – это мой девиз.

И мы шли дальше, смеялись, шутили, играли с отражениями света на мокрой брусчатке, и я вдруг поняла: иногда городская ночь с друзьями – это самое мягкое лекарство от всего, что кажется слишком серьёзным.

Ветер сегодня решил стать нашим неожиданным соавтором: тёплый, но дерзкий порыв с набережной, словно море решило щекотать город за шёлковый воротник. Мы шли втроём, и слова Зейна – «не жди» – всё ещё шептались где-то в голове, как маленький камешек в обуви, который напоминает о себе каждый шаг. Я пыталась не ловить его взгляд, но где-то внутри что-то тихо тарахтело, будто он всё равно напоминал о себе, даже когда его не было рядом.

– Смотри, – сказала Ная, пытаюсь удержать шляпу, которую ветер уже чуть было не сдул с головы. – Эй, погодка, полегче.

– Ну так на что ты надеялась, надев шляпу у моря? – подколол Джеймс, перегнув рюкзак наперёд. – Это как приглашение для ветра: «Эй, приходи, унеси стиль!»

Ная отмахнулась и приняла «боевую стойку»: шляпа села глубже на голову, она заправила пару выбившихся прядей за ухо и морщила нос, словно проверяя, сможет ли ветер её всё же победить.

– Я не боюсь ветра, – сказала она с видом человека, который только что отстоял диссертацию в инстаграме. – Он меня уважает.

Я усмехнулась, но ветер внезапно устроил ещё один сюрприз: шляпа взлетела, описала короткую дугу и полетела прочь. Всего за мгновение началась настоящая погоня, будто мы вдруг попали в кадр какой-то неуклюжей романтической комедии.

– О, всё, – выпалила Ная. – Эмигрирует моя шляпа!

Шляпа улетела в вихре ветра, подпрыгивая над головами и описывая смешные петли. Люди на набережной на мгновение замерли, кто-то успел заснять этот хаос на телефон. Я вдруг ощутила странное возбуждение – не героическое, а чисто азартное. Погоня была совершенной: никакой сентиментальности, только ветер, смех и щепоть паники.

– Джеймс, поймай её! – крикнула Ная.

Джеймс будто подготовился к этому всю жизнь: он сделал шаг в сторону, бросил рюкзак, выбрал траекторию и, шелестя как герой низкобюджетного кино, протянул руку. Шляпа почти коснулась его ладони, но ветер дернулся в сторону – и тогда Джеймс подпрыгнул, ухватил её и прижал к груди. Он выглядел так, будто именно ради этого момента он и ходит по городу: герой, рюкзак и шляпа.

– Спасено, – провозгласил он, поднимая шляпу как трофей. – Награждаю себя медалью за мужскую храбрость и безопасность головных уборов.

Ная бросилась обнимать шляпу, а потом его – в таком порядке, который всегда оставляет мужчин слегка смущёнными и очень довольными.

– Спасибо, сэр Джеймс, – сказала она драматично. – Я обязана.

– Не за что, – ответил он, и в его улыбке шутка встретилась с реальной теплотой. – Всегда рад служить обществу и дамам с прекрасным чувством стиля.

Я стояла, наблюдала за этой сценой, и где-то внутри что-то осторожно хихикнуло. Джеймс всегда умудряется сделать глобальное из мелкого жеста – и это работает. Его героизм был прост: ловкость, чуть театра, и готовность разгрузить момент от неловкости.

Пока Ная осторожно поправляла шляпу, проверяя, не помялась ли она и всё ли на месте, из толпы выскочил мальчик. Он с тревогой оглядывался и протянул нам лист бумаги, который ветер утащил куда-то дальше. Казалось бы, пустяк, но в его руках этот лист выглядел как маленький секрет города, возвращённый нам самой судьбой.

– Спасибо! – сказала я мальчику. Он смутился и покраснел, словно только что выполнил секретную миссию.

– Ну, я вроде как герой вечера, – пробормотал он себе под нос и тут же умчался так же быстро, как появился.

Мы смеялись – громко, легко, как будто смех сам мог разравнивать складки воздуха. Он смягчил уголки напряжения, оставшиеся после Зейна, и почти стер острые краешки его слов из памяти. Ветер всё ещё дул, но теперь не мешал – он стал частью нашей игры, подбрасывая волосы, подталкивая шляпу, добавляя движение, которое мы могли ловить вместе..

– Вот это поворот, – сказала Наи, когда мы опять шли дальше. – Пожалуйста, запомните мою благодарность. Я могу официально признать Джеймса в рыцарях случайного спасения.

– Я беру на себя роль рыцаря, – сказал Джеймс и напомнил, что у него есть и иная миссия: купить мороженое. – Кто со мной?

– Я! – выпрыгнула Наи. – Но только если там есть вкусы типа «сдала дедлайн» или «прилив нежности».

Я усмехнулась, представив себе мороженое с таким названием.

– «Прилив нежности» – звучит как новый тренд, – пожалла плечами я. – Хотя честно, сегодня пора бы назвать вкус «нежность и пессимизм»: сложная смесь.

– Отличное название для кофейни, – подхватил Джеймс. – «Нежность и пессимизм»: заходите, получите счастливую кружку и маленькую философию в придачу.

Мы смеялись, и каждая шутка словно склеивала нашу компанию заново. В игре слов Джеймса – театральной, но тёплой – было что-то умиротворяющее: мир не разваливался на куски, он аккуратно собирался в знакомые формы – друзья, смех, мороженое и ветер, который мог сдул шляпу, но не мог унести нашу дружбу.

На набережной вдруг появился старый кларнетист; без лишних слов он подключился к нашему смеху старым блюзом, и в его музыке звучало всё: морская соль, шуршание осеннего листа, обещание, что ночь пока ещё держит нас внутри себя. Мы купили мороженое, делились ложками, спорили о вкусах, подшучивали друг над другом и тихо согласились: прогулка – маленькая терапия для души.

В какой-то момент я поняла, что пальцы дрожат не от ветра, а от того, что привычное напряжение ушло на время. Оно не исчезло навсегда – нет – но появилось место для смеха. Место, как крошечная комната в доме, где можно оставить печали на пороге и войти в тепло.

– Иви, – тихо сказала Наи, когда мы сидели на лавочке и смотрели, как море глотает огни, – ты выглядишь иначе. Мне нравится.

Я взглянула на её лицо в свете фонаря и поняла: вот оно, настоящее облегчение – чуть мягче, чуть легче. Не потому что всё вдруг стало ясно с Зейном, а потому что рядом были те, кто ловил шляпы и возвращал бумаги; те, кто не требовал от меня объяснений и оправданий, а просто шёл рядом. И это было важно.

– Спасибо, – сказала я, и в этом простом слове скрывались и смысл, и обещание себе: идти дальше, даже когда кто-то говорит «не жди». Потому что порой идти вместе оказывается легче, чем ждать.

Глава 7 – "Когда защита становится стеной"

Около пяти утра город выглядел так, будто решил быть честным: без макияжа, без притворной важности, только свет фонарей да влажная полоска на горизонте, где море пыталось растворить все неуместные огни.

Я стояла у окна с пустой кружкой в руках, и город казался мне чем-то чужим и одновременно близким – как старый знакомый, который не спрашивает, почему ты ещё не спишь. На улице было странное утро: не совсем ночь, не совсем утро – узкая полоса света на горизонте, и фонари, которые отказывались гаснуть. В этой серой полутени все мои мысли становились тише, как будто можно было слышать, как замедляется сердце у дома.

Кофе давно остыл. Я держала кружку больше по привычке, чтобы было что-то тёплое в ладонях. Внутри было и облегчение от вчерашнего вечера, и странная настороженность – «не жди», которое он говорил в прошлой дневной суматохе, всё ещё отдавало где-то эхом. Но сейчас это звучало не требованием, а фоновым шумом: я не ждала – я просто позволяла себе быть здесь.

Дверь открылась мягко. Он вошёл почти без звука шагов, будто боялся нарушить тишину, и на мгновение выглядел

как человек, которого я не часто вижу: усталый, с немного помятой футболкой, с сумкой через плечо и с глазами, которые были утомлены дорогой. Он остановился в проёме и посмотрел на меня так, будто не ожидал увидеть свет в этой квартире.

– Ты ещё не спишь? – его голос был ровный, удивлённый, но не резкий.

Я повернулась, стараясь не показывать, что сердце неожиданно ускорило. Ответ вышел легче, чем хотелось бы.

– Нет. Мне нравится смотреть, как город засыпает и просыпается одновременно. – Я улыбнулась, чуть играюще. – Ты вернулся?

Он подошёл поближе, и в полумраке я увидела, как ветер с улицы оставил на его плечах пару маленьких соляных крошек. Он опустил сумку и, не отводя взгляда, произнёс:

– Я же просил не ждать.

Фраза прозвучала как напоминание, которое он произносил раньше, и в ней слышалась доля недовольства – но не злость. Скорее удивление, что я все ещё на ногах, когда можно было бы спать.

Я усмехнулась, потому что мне нравилось переворачивать его привычки с ног на голову.

– Я и не ждала, – ответила я спокойно. – Я просто наслаждаюсь тишиной. Ты же знаешь: я люблю это странное время – когда ночь почти ушла, а день ещё не пришёл.

Он округлил глаза, и в них на секунду застыл тот самый

странный блеск – будто он обнаружил во мне новую, аккуратно упакованную сторону.

– Ритуал? – переспросил он, и в слове было немного надменности, немного интереса. – Не думал, что ты практикуешь что-то религиозное для мира в пять утра.

– Это не религия, – ответила я, приподнимая кружку как тост. – Это способ не терять контакт с реальностью. И не думать о том, что может сказать или сделать кто-то, кто уходит по делам.

Он подошёл ближе настолько, что в конце концов между нами остался только подоконник. Его тень уползала по комнате, и в этом движении было нечто спокойное и знакомое. Я заметила, что он устал, но не измотан – скорее напряжён, как музыкант перед первым аккордом.

– Ночью ты... другая, – сказал он тихо, чуть наклонив голову. – Не знаю, как объяснить... будто мягче. И это... не жалоба.

Я ощутила странное тепло, которое поднималось в груди – смесь смущения и тихого удовольствия. «Мягче»... такое слово я слышала от него крайне редко; обычно в его лексиконе значились «саркастично», «остро», «непокорная». А вот «мягче» явно туда не входило.

– Может, потому что меня тут никто не отвлекает, – ответила я, и голос неожиданно дрогнул. – Может, потому что город говорит шёпотом, а не криком.

Он замолчал, и тишина натянулась между нами, словно

плотная ткань. Я опустила взгляд на ладони, а рядом будто стало теплее просто от его присутствия. Его рука едва коснулась моих пальцев – случайно, когда он отодвинул с подоконника пачку бумаг и задел мою кружку. Прикосновение было коротким, но ощутимым: тёплые, чуть шершавые пальцы, и запах – смесь табака и кокосового мыла. Странное сочетание, но именно в нём оказалось что-то удивительно спокойное.

– Подожди, – сказал он тихо, будто не уверен, можно ли продолжать. – У тебя ресничка на щеке.

Он наклонился и кончиком пальца убрал её. Жест был таким простым, что я почти рассмеялась от неожиданного облегчения: человек, умеющий бросать резкие фразы, вдруг оказывается способным на что-то удивительно бережное. Его палец скользнул по коже так легко, что едва ли можно было назвать это прикосновением, но внутри всё отозвалось. Не пафосно, не голливудски-сентиментально – скорее как тихая искра в лампе: малая деталь, которая меняет весь свет.

– Спасибо, – выдавила я, потому что в тот момент слова были необходимы.

Он задержал взгляд на моих губах, затем посмотрел в мои глаза, и на его лице отразилась смесь чего-то вроде сожаления и радости, которая не нуждалась в словах.

– Ты прекрасно выглядишь, – сказал он неожиданно, и в голосе не было ни насмешки, ни игры. Просто факт.

– Ты всегда был диагностом красоты? – не удержалась я,

поддаваясь лёгкой попытке вернуть старую иронию.

Он усмехнулся – не широко, а так, будто улыбка была тайной, оставленной только для меня. Его палец едва коснулся моей руки, мягко сжал кончики пальцев и почти сразу отпустил, словно хотел убедиться: я здесь, всё в порядке. Контакт был крошечным, но остался во мне эхом – не болью и не требованием, а тихим приглашением, которое можно было принять или отвергнуть, но невозможно было не заметить.

– Хорошо, – его голос стал мягче, чем я привыкла. – Я не буду просить тебя ждать... просто останься. Если ты сама этого хочешь.

Я посмотрела на улицу, потом снова на него – и на губах появилась улыбка, тихая, без позы и оправданий, просто потому что в этот миг она была настоящей.

– Я ведь и не ждала, – тихо сказала я, на этот раз без игры. – Просто... я здесь. И этого хватает.

Он кивнул, и мы остались рядом в той тишине, где даже дыхание звучало, как отдельная нота. Слов было мало, но каждый жест говорил громко: его рука на моей щеке, тепло ладони, взгляд, который задерживался чуть дольше, чем требовала простая вежливость. Это было начало – не шумное, не заявленное вслух, а тихое, как шелест: двое пробуют идти рядом, осторожно обходя трещины прошлого.

– Пойдём, – сказал он негромко, будто приглашал не просто на кухню, а в продолжение того, что между нами возникло и ещё не имело названия. – Я помогу с посудой.

– Ладно, – ответила я, и в моём голосе был отблеск доверия, который я сама ещё не до конца понимала.

Мы отошли от окна, оставив позади ночной город и ту тихую, почти неощутимую нить прикосновения, которая теперь слегка вибрировала между нами.

Коридор факультета пах бумагой и старой краской – тот запах, который всегда говорит: «сюда приходят учиться, а не жить». Мы с Наей стояли у шкафчиков, перебирая чей-то общий план проекта и смеясь над её драматическими набросками к короткометражке. Ная жестикулировала так, как будто режиссёр уже находился в её руках: громко, с паузами для аплодисментов.

– И представь, – говорила она, – сцена, где главный герой приходит с пляжа и у него на коленях море. И тут крупный план на глаза – и мы все начинаем плакать.

– Так, – перебил я её внутренний голос, – только не добавляй туда глупую музыкальную драму. Мне уже снится, как кофемашина плачет от нашей съемки.

Мы смеялись, и в этом смехе было столько обычности, что мне даже казалось: можно на время забыть про ту тонкую смуту с утра. Я держала папку с распечатками, одна из страниц чуть выглядывала и всё ещё пахла кофе прошлой ночи.

Вдруг кто-то резко повернулся за углом – парень, высокий, шаг у него был быстрый и немного грубый. Он не посмотрел по сторонам и с такой силой врезался в меня, что

папка выскользнула, листы полетели, а я сама потеряла равновесие и едва не рухнула, чувствуя, как меня отбрасывает назад удар столкновения.

– Эй! – вырвалось у меня, когда я ударилась о перила. Страница ускользнула и зацепилась за мои пальцы, и я вздрогнула.

Парень не извинился. Он лишь нахмурился, посмотрел на меня сверху вниз так, будто видел неприятную помеху в своём маршруте. В его голосе слышалась редкая смесь презрения и спешки:

– Смотри вперёд, дурочка, а то в следующий раз не отделаешься лёгким испугом.

Шепот разошёлся по коридору; несколько студентов обернулись, но большинство – заняты движением. Ная уже была рядом, хватала упавшие листы, её рука дрожала от злости больше, чем от страха.

– Что ты сказал? – холодно спросила она, поднимая голову так, что шея её выпрямилась, словно она снова обрела свой рост.

Парень фыркнул, словно от вкуса дешёвого вина:

– Никогда не видел, чтобы кто-то так неловко падал. Наверное, и рвотный рефлекс включился бы.

Мне захотелось ответить колкостью, но слова вязли в горле. Куда-то ушла та часть меня, что швыряла сатиру в ответ на оскорбление – и это пугало: я была уязвима, и это было заметно. Ная взглянула на меня так, будто спрашивала: «Ты

в порядке?» и «Ты хочешь, чтобы я его отшвырнула?».

В этот момент в коридоре появился Зейн. Он будто материализовался: шаги уверенные, взгляд как будто сразу всё просчитал. Я не слышала, как он подошёл – просто ощутила перемену в воздухе. Как будто невидимая граница грубости исчезла, а мир вдруг включился на предельную громкость.

– Что здесь происходит? – его голос был ровный, но в нём слышалась сталь.

Парень скривился, как будто узнал в нём раздражающего знакомого:

– Ничего такого. Девчонка сама споткнулась. Я тут не задерживаюсь.

– Ты толкнул её, – сказал Зейн тихо. Не крик, не угроза – просто констатация факта. Но в этой констатации слышалось слово «не проходи мимо».

Я заметила, как в висках парня зашевелились вены, он сделал шаг вперёд, сжав губы в тонкую линию.

– И что? Ты – её рыцарь теперь? Отвали.

Зейн не двигался. Он посмотрел сначала на меня, потом на парня, и в его взгляде было быстрое, холодное переключение: от «не трожь её» к «я остановлю это». Его плечи натянулись, как тетива.

– Уймись, – сказал он тише и подошел ближе, и тогда я поняла, что слово «уймись» в его исполнении – не просьба, а команда.

Парень нахмурился, и на мгновение в его глазах про-

мелькнула самоуверенность, сменившаяся раздражением. Он взялся за Зейна, словно собираясь толкнуть, но Зейн ловко перехватил его руку, провернул, и всё произошло стремительно: толчок, блокировка, удар – коридор будто превратился в миниатюрную арену.

Я не думала, что он способен на такое – не в этой стороне, где обычно слова летели острыми лезвиями. Здесь он был точен и беспощаден, как будто действовал по старой привычке, которую не обсуждают. Его движения были короткими, экономными: не чтобы показать силу, а чтобы остановить. Парень пытался сопротивляться, но Зейн оказался быстрее, жестче. Удары были не театральными – грубые, сырые, раздражающие; шум тел, скрип подошв, разлетевшиеся листы, всплеск адреналина.

Кто-то закричал: «Эй! Что здесь происходит?» – голос старшего преподавателя или охранника прорезал шум драки. Но сначала была только она, эта суматошная схватка. Я стояла, будто в замедленной киноленте, и в груди у меня билось странное сочетание чувств: страх, смешанный с неожиданной благодарностью.

В один момент парень отскочил, закашлялся и сплюнул кровь – нос, похоже. Пробормотал что-то вроде «я вызову...», махнул головой, словно этого было достаточно, чтобы уйти. Ноги вынесли его прочь, и он ретировался, ещё успевая бросать грозные лозунги: «Это не конец!». А по коридору уже разлетелся шепот: «Он дерётся...», «Зейн ударил...»,

«Что за беспредел?» – слова, которые висели в воздухе, тяжелые и возбуждающие.

Зейн стоял, тяжело дыша, кулак чуть дергался. В уголке губ блеснула тонкая яркая трещинка – кровь. Вдруг его лицо стало похожим на лицо ребёнка, которому досталось больше, чем он ожидал. Его взгляд встретился с моим; в нём скользило что-то одновременно извиняющееся и охраняющее.

– Всё нормально? – выдавила я, потому что в голосе надо было найти опору.

Он хмыкнул, словно пытаясь снять с себя значимость того, что произошло:

– Этого идиота больше тут не будет.

Охранник подошёл через минуту – или две, время растянулось, будто подчинялось чужому ритму. Сотрудники университета быстро окружили место, расспрашивая, кто что видел. Парень ушёл, оставив за собой резкий осадок слов, а тут же прозвучало: «Зейн, к заведующему в аудиторию, немедленно!» – голос был сух и отчётлив. Я поняла, что последствия будут не только синяками: его вызвали на чистку, на разбор полётов, без прикрас.

Я подошла к нему, чувствуя, как внутри дрожь смешивается с тревогой: хотелось накрыть его своей тенью, спросить, не больно ли, и одновременно стыдиться того, что перед чужой жестокостью я сама ощущаю слабость. Ная стояла рядом, уголки губ сжаты, готовая ринуться на защиту без лишних слов.

– Ты... – начала я, но слова путались.

Он отмахнулся рукой, и в этом движении было и раздражение, и желание не выглядеть ранимым:

– Ничего. Просто иди дальше, – сказал он, и голос его был суховат.

– Тебе нужна помощь? – спросила я, не отступая.

Он посмотрел на меня остро, как будто не понимал, зачем мне это:

– Я сам знаю, что делать. Иви, просто – отойди.

В этой фразе не было грубости как таковой, скорее отталкивающая броня. Я почувствовала, как во мне зашевелились противоречивые чувства: благодарность (он встал между мной и опасностью), тревога (он получил травму), и обида (он отталкивает, когда я хочу помочь). Это было одновременно странно и знакомо: он защищает, но закрывается после.

– Хорошо, – прошептала я, потому что спорить в коридоре, окружённом шепотом и взглядами, казалось глупым.

Его губа кровоточила, и даже когда он старался скрыть это – сжимая зубы, прищуривая глаза – я видела каждую каплю. Ная схватила меня за руку и тихо тянула:

– Пойдём, не трогай его сейчас, – в её голосе звучала смесь тревоги и заботы.

Я оглянулась назад: Зейн стоял в лёгкой суматохе, когда его отвели в сторону – кто-то из преподавателей говорил с ним спокойным, но твёрдым тоном. В его позе была уста-

лость и ледяная решимость одновременно. Моё сердце было разорвано на кусочки – он защитил меня, и заплатил за это своим лицом . Мне хотелось сказать «спасибо» и «прости», хотелось дотронуться и убедиться, что он в норме, но на его лице было личное правило: не давать чужим видеть слабость.

Я вцепилась в свою папку чуть крепче, как будто она могла зафиксировать происходящее и вернуть его в какой-то порядок. И в это мгновение я поняла: он не только «мальчик с дерзкой улыбкой», не просто сосед, который может уснуть под басы. Он – человек, у которого есть тяжесть и грани, которые можно было раньше не замечать. И это пугало так же сильно, как и манило.

Я стою у выхода, и воздух вокруг меня кажется слишком большим – в нём ещё слышится эхо шагов, шёпоты, удаляющиеся голоса, но всё это как будто будто через плёнку. Сердце всё ещё бьётся в такт с чужим адреналином – тот звук, который не уходит сразу после драки. Я прислоняюсь к холодной стене, ладони ещё пахнут бумагой и кофе, а во рту остаётся металлический привкус от страха и оттого, что я не успела ничего толком понять.

Он появляется так, будто его вытащили из тени – шаги уверенные, но чуть скованные. Я вижу его профиль: губа опухшая, маленькая трещинка и засохшая кровь у края; под глазом синяк тёмный, как старые чернила. Его рубашка сдвинута, воротник помят – и всё это делает его одновре-

менно уязвимым и каким-то ещё более непроницаемым.

Я делаю шаг вперёд, сама себя едва удерживая, потому что стоять сложа руки – это не про меня. Каждая клетка кричит: нужно что-то сделать, хоть слово, хоть движение, хоть взгляд, хоть прикосновение. И даже если он этого не хочет, даже если оттолкнёт, внутри меня бурлит желание быть рядом, быть нужной, хотя бы на секунду разделить боль, которую он так отчаянно прячет.

– Ты в порядке? – спрашиваю тихо, почти как ребёнок, потому что фраза «ты ранен» звучит слишком громко, слишком тяжело, и я не готова к такой громкости. Хочу просто услышать «да», хоть немного облегчить то, что горит в груди.

Он резко поворачивается ко мне, и я словно врезаюсь взглядом в холодный лёд, под которым дрожит усталость. В его глазах сталь, и эта сталь режет острее, чем сама разбитая губа или синяк на щеке. Сердце сжимается – от испуга, от тревоги, от того, что за этой жесткой броней скрывается кто-то, кому нельзя помочь, хотя так хочется. Я чувствую свою беспомощность, и она жжёт сильнее, чем любые удары.

– Не лезь, – говорит он коротко и твёрдо. – Это моё дело.

И в этом «не лезь» звучит не только резкость, но и холодная граница, которую он проводит между нами. Каждое слово бьёт по нервам, словно острое стекло: оно отталкивает мою руку, моё желание быть рядом, моё доверие. В груди сжимается комок – смесь знакомой боли и бессилия, желание помочь сталкивается с пониманием, что сегодня меня не

пустят в его мир, каким бы близким я ни хотела быть. Это чувство тяжёлое, почти физическое, и слёзы уже подступают, но я сдерживаю их.

– Я просто хочу – начинаю я, делая шаг назад, – узнать, всё ли с тобой в порядке. Я могу чем-то помочь.

Его губы дергаются, но он не делает шаг назад – скорее, как будто выбирает самый короткий маршрут к отказу.

– Нет. – он отрезает, голос хриплый. – Не говори. Мне не нужна жалость. Не лезь.

В его «не лезь» слышится куда больше, чем простая грубость. Там целая оборонительная стена: «не входи», «это не для посторонних», «я сам разберусь». И я понимаю, что моя забота сталкивается с закрытой дверью. Это не из-за неблагодарности – скорее наоборот: благодарность здесь лишняя, она превращается в слабость, которой он боится.

Мне хочется рассмеяться от бессилия, но вместо смеха слова застревают в горле. В глазах появляется странная влажность – сначала горячая и одна, а потом предательская: слеза. Я не сдерживаю её. Это не драма ради драмы – это простая, острая обида: он защитил меня, а теперь отталкивает, когда я хочу ответить тем же.

– Почему ты всегда так? – выдыхает Ная рядом со мной, голос тихий, но в нём слышна ярость и растерянность.

Он переводит взгляд на Наю, потом снова на меня, и на его лице мелькает странная смесь раздражения и... чего-то почти похожего на сожаление. Но он выпрямляет плечи и

делает шаг к выходу, словно хочет раствориться в прямой линии улицы, унося с собой часть напряжения.

– Я сам справлюсь, – повторяет он уже без обращения, и в этих словах слышится приказ и просьба одновременно.

Я инстинктивно тянусь к нему ещё раз, хочу коснуться губы, ощутить тепло кожи или просто прикоснуться. Его плечо встречает мою руку – не с силой, но с такой твёрдостью, что больнее любого удара. Он отстраняется, и кажется, будто с уходом уходит часть воздуха, оставляя только холодный щемящий вакуум.

– Не надо, Иви. – его голос теперь совсем другой – усталый, почти скользящий. – Просто оставь это.

Слёзы текут сами, без драмы, плотными солоноватыми струйками, оттого что несправедливость режет насквозь: он принимает удары на себя, а когда приходит момент уязвимости – сам закрывается. Я хочу пробить эту броню, прошептать туда «спроси меня», но он умудряется отдалять меня даже тогда, когда мне хочется быть рядом, держать его за руку, быть точкой опоры.

– Ты не можешь всё решать один, – шепчу я так тихо, что это, наверное, больше самой себе, чем ему. – Почему ты всегда делаешь это сам?

Он молчит, и в молчании слышится ответ, который не звучит словами: прошлое, привычка, самодостаточная жестокость – всё это определяет его поступки. Он поворачивается и уходит. Его шаги отдаются в моей груди эхом: сначала

быстрые, потом всё дальше.

Первый настоящий рывок приходит внезапно: слёзы вырываются наружу, тяжёлые от обиды, бессилия и того парадоксального чувства, что Ангел Защиты умеет быть жестоким к тем, кого оберегает. Всхлип вырывается сам, короткий, режущий, и ломает мне дыхание, оставляя ощущение, будто внутри что-то треснуло.

Ная тут же рядом, её рука на моём плече – твёрдая, уверенная, как якорь в буре, и в этой простоте есть утешение.

– Дыши, – шепчет она, и голос её – как будто тёплая ладонь. – Сделай четыре вдоха. Вдох – два – три – четыре. Я с тобой.

Я стараюсь слушать её, потому что её голос – якорь. Вдыхаю, считаю, выдыхаю; тело медленно возвращается к работе, но слёзы на щеках ещё горячие.

– Почему он так? – спрашиваю я вслух, хотя знаю ответ, но хочется его услышать от кого-то другого.

– Он просто боится, – говорит Ная тихо, ровно, без лишних слов. – Боится, что случайно причинит тебе боль, и боится открыться для кого-то так, чтобы самому остаться уязвимым. Это его способ выжить, Иви. Может быть жестоко, но это... правда.

Я кладу голову ей на плечо, потому что это безопасно – она не требует объяснений, не пытается исправить всё за секунду. Её теплота медленно растворяет остроту обиды, оставляя грусть и осознание. Я злюсь, потому что хочу быть

полезной, и мне больно, что он не позволяет этого. И вместе с тем я понимаю: он защищает не только себя, но и меня – таким странным, противоречивым способом.

– Он будет в порядке? – спрашиваю я, и в голосе слышится надежда и обвинение одновременно.

– Он справится, – отвечает Ная с твёрдостью, которая почти звучит как обещание. – Это всё временно. Давай вернёмся пойдём ко мне, попьем чаю, и ты расскажешь мне, как всё было – от начала до конца.

Я киваю и вытираю лицо рукавом. Слезы уже не такие горячие; они оставляют на щеках солёные дорожки. Я не знаю, что будет дальше с Зейном, и это страшит. Но в этом страхе появляется и понимание: я могу быть рядом, не влезая в его бой, иногда позволять себе помогать – просто по-своему. И это маленькое обещание растёт внутри, тихое и упорное, как семечко, которое уже решило прорости.

Глава 8 – "Среди волн и теней"

Мы шли медленно – не потому что нужно было экономить время, а потому что хотелось, чтобы разговор сам успел расправиться. Вечерние улицы между домами были пусты, фонари тянули длинные полосы света по мокрому асфальту, а воздух пах слегка солью и углём от далёкого фудтрака. Ная шла рядом, иногда подталкивала меня плечом, как будто хотела сказать: «Говори, не прячься». В её сумке шуршали какие-то баночки – обязательный набор для вечерних «лечебных» сессий: корица, печенье, спасительная баночка варенья.

– Ну, рассказывай, – начала она сразу, как только мы свернули на тихую улочку. – Что там у тебя с этим твоим соседом-мистер «отвали»? Он и правда то тёплый, то как будто камень?

Я будто сглотнула всё, что не успела сказать раньше. Слова шли неровно, как камни в ботинках, пока я не нашла ритм.

– Смотря в какой день, – ответила я тихо. – Иногда он может сделать что-то такое милое и внимательное, что я потом целый час ловлю себя на том, что улыбаюсь сама себе. А иногда он – просто лед. Одна строчка «не лезь» – и как будто уходит тепло.

Ная остановилась, посмотрела на меня и, как будто про-

веряя маршрут, повторила вопрос иначе:

– То есть он может убрать ресничку с твоего лица и через час сказать, чтобы ты не связывалась с ним? Классика. И как ты с этим справляешься?

– Плохо, – выпалила я, и слово прозвучало так прямо, что Ная на миг замерла. – Иногда я хочу крикнуть «отвали» в ответ. А иногда – просто прилечь рядом и слушать, как он дышит. Это сумасшествие.

– То есть у тебя внутри – вечный хаос: «люблю-ненавижу» в формате мини-серии? – улыбнулась Ная, но в её тоне была искренняя забота. – Скажи честно: ты влюблена?

Вопрос повис над тротуаром, как лампа, высвечивая складки моей неуверенности. Я посмотрела на её лицо – в свете фонаря оно казалось мягче, чем обычно.

– Я не знаю, – призналась я наконец. – Честно не знаю. Иногда – нет. Иногда – да. Но есть одно: я хочу быть рядом. Я хочу знать, что он где-то поблизости, даже если он холоден. И это пугает больше всего.

Ная рассмеялась тихо, не издевательски, а скорее удивлённо, как будто обнаружила новую деталь в знакомом пазле.

– Это уже что-то, – сказала она. – Желание быть рядом – это, знаешь ли, неплохая основа. Но слушай, Иви. Ты не должна терять себя. Быть рядом – да. Ждать, подстраиваться, позволять ему водить тебя по своим причудам – нет.

– Я понимаю, – прошептала я, – боюсь потеряться в этом его вечном «то тепло, то лед». Но и уйти сейчас кажется

неверно, словно я убегаю от чего-то значимого, пусть даже это ранит.

Ная сделала шаг вперёд и взяла меня за руку – жест простой, но ровный, как измеритель правды.

– Тогда держи меня за руку и держи себя крепко, – сказала она. – Я буду рядом. А если он решит тебя сломать... ну, тогда я сломаю ему нос. Шучу. Или нет.

Я улыбнулась сквозь внезапный прилив слёз, потому что в её «я буду рядом» звучало настоящее спасение: не романтика, а конкретное плечо, плед, чувство защищённости. Внутри меня снова зазвенел тот маленький внутренний конфликт: хочу быть рядом, но боюсь потерять себя.

– А он тебе говорил что-то о себе? – спросила Ная. – Про прошлое, почему он такой?

Я слегка откинула волосы назад плечом – обсуждать чужую семью и его мотивы было как раз то, что я терпеть не могла: спекуляции и догадки

– Ничего. Я вообще не знаю, что с ним происходит. Иногда он как чужой, иногда... я не понимаю, что он делает.

Ная вздохнула, и в этом вздохе был и упрёк, и понимание.

– Слушай, – сказала она вдруг серьёзно, – если ты хочешь быть рядом, делай это осознанно. Не отдавай себя в долг без расписок. И если он ценит твою заботу – пусть это будет видно. Если нет – мы разберёмся. Я не дам тебе тонуть просто потому, что у кого-то снаружи дыра.

Я рассмеялась горьковато и, может быть, слишком быст-

ро:

– Отлично. План – не тонуть. Классный девиз.

Мы опять пошли дальше. По дороге я рассказывала ей случаи: как он однажды оставил на моём блокноте кривой набросок домика, как в коридоре выдал «не лезь», как ночью снимал с моего лица ресничку. Ная в ответ вздыхала, спорила, давала советы и, главное, слушала – до тех пор, пока я не почувствовала, что её присутствие сделало мне легче: мысли перестали быть крошечными острыми камнями и стали чем-то, что можно поднимать, рассматривать и класть обратно.

– Знаешь что, – сказала Ная, когда мы уже почти дошли до её дома, – будь рядом. Но если он начнёт закрываться и затягивать тебя в свою тишину, не стесняйся сбежать в мою комнату. Я заварю чай, дадим ему шанс объясниться, а если не объяснится – вместе продумаем, как дать ему понять, что я вижу его насквозь.

Я кивнула, потому что в её словах было не только юмор, но и план: «быть рядом» с защитой, с границами. И это было как манометр – маленький, практичный, дающий опору.

Дверь Наи тихо захлопнулась за нами, и на кухне разлился аромат корицы и чеснока от её полуготового ужина. Мы поставили кружки на стол, и я ощутила лёгкость: просто проговорить всё вслух – словно вернуть себе часть себя. Ная коснулась меня локтем, подмигнула и сказала:

– Ты сделала шаг, Иви. Это уже не просто «не знать». Это движение.

Я улыбнулась – настоящей, не наигранной. Внутри что-то тихо согрелось: это не давало ответов на все вопросы, но шептало обещание – беречь себя, даже если сердце тянется идти рядом.

Ная получила сообщение от кого-то из знакомых – короткое: «Пляж. Сейчас. Музыка, огни, приходите». Она посмотрела на меня с тем тихим вызовом, который она использует, когда хочет, чтобы я вышла из своей скорлупы хотя бы на одну ночь. Я хотела отказаться. Я хотела остаться в этом мягком мире лампочек и чая, где Ная варила кофе и всем казалось, что тревога – это только плохой сон. Но в конце концов я надела кеды, потому что иногда хочется посмотреть, как выглядит твой страх в ночном свете.

– Пойдём? – спросила Ная, уже вешая на плечо сумку с пледом. Её глаза горели от любопытства. – Там Джеймс будет, и ещё ребята с нашего курса. Будет шумно. Будет весело.

– Шумно – это пожалуйста, – ответила я, хотя в груди дрогнуло что-то, похожее на предчувствие. – Весело – спорно.

Мы шли по улицам, будто переходя из одного мира в другой: из домашней тишины в место, где город дышал громче. Уже на подходе к пляжу бас проваливался в грудь как тяжёлое облако; над песком плясали фонарики и фонари, кто-то разжигал маленькие костры в металлических бочках. Музыка, смешанная с солёным ветром, пахла как что-то запретное

и притягательное одновременно.

– Слушай, – начала Ная, когда мы оказались в толпе, – если что, я рядом. Просто скажи мне, если Джеймс будет слишком нахальным.

Я улыбнулась, но это была не та улыбка, что рассеивает – скорее предупреждение.

«Правило номер три», промелькнуло в голове: не поддаваться на случайные доброты. Я повторяла это про себя, как заклинание, когда перед нами промелькнул силуэт Джеймса – в рубашке, которую он явно не надевал ради пляжа, с той самой лёгкой небрежностью баристы, которая работала на его обаяние.

– Иви! – он подошёл как будто мимоходом, а на самом деле целенаправленно. – Ты выглядишь лучше, чем кофе в понедельник утром. Правда.

Его улыбка была солнечной, слишком открытой. Он взял моей руку, как будто уже имел на неё право. Я почувствовала, как в горле сел комок.

– Джеймс, – сказала я ровно, пытаюсь не дать голосу дрогнуть. – Не надо.

Он только рассмеялся – тот самый лёгкий смех, что умело разгоняет неловкость – и наклонился ближе, чтобы перекричать музыку:

– А я думал, у нас уже есть договорённость – ты и я, разговор о мире, кофе после полуночи... – он коснулся моей руки пальцами, и в этом прикосновении было больше ожи-

дания, чем уместности.

Я резко отдернула руку, чуть сильнее, чем планировала, но не устраивая сцену: плечом сдержала жест, словно поток воздуха перед бурей. Ная мгновенно встала между нами, как невидимая стена, готовая принимать на себя всё напряжение.

– Не сегодня, Джеймс, – Ная улыбнулась холодно. Это была «ная-улыбка», которую он давно не видел. – Она пришла отдыхать, не ловить цветы.

Он поднял руки в покорной шутке, но взгляд не отпустил меня.

– Ладно-ладно, – сказал он затем мягче, – просто хотел сказать, что ты – огонь. Не держи в себе.

«Не держи в себе» – как будто он имел право требовать от меня какого-то света. Мне было неприятно и странно приятно одновременно: жалкое признание, что слова всё ещё задевают тонкие струны внутри. Я улыбнулась лишь краешком губ, потому что резкость могла вызвать вопрос «почему», на который у меня не было ответа.

– Я не в игре, Джеймс, – ответила я коротко. – Но спасибо за комплимент.

Он кивнул, отступая, но не полностью. Осталось ощущение, что он мог вернуться – и это подталкивало моё сердце к беспокойству. Я чувствовала, как глаза окружающих периодически скользят по нам, как по сцене. С одной стороны – смущение. С другой – какая-то глупая гордость, что меня

заметили.

– Ты в порядке? – прошептала Ная, когда Джеймс растворился в толпе.

– Да, – я ответила, но правда была другой: я хотела врезать ему, чтобы он понял, что не все комплименты приходят с доброй целью. Хотела сказать Нае, что это его поведение – тест, и я не собираюсь его проходить. Но вместо этого я вздохнула и сказала чуть тише: – Просто не люблю, когда границы переступают без стука.

Ная сжала мою руку – простой жест, но в нём было столько защиты, сколько не дали бы слова. Мы отошли немного в сторону, чтобы не быть в центре внимания, и я позволила себе посмотреть на огни: они казались сейчас слишком яркими, как будто высветляли каждую мою ошибку и каждое маленькое притяжение.

– Пойдём присоединимся к ребятам, – предложила Ная. – И если кто будет лезть – я сама ему объясню.

Я улыбнулась ей по-настоящему. В этой суматохе, среди музыки и соли, было что-то верное: иногда быть рядом – это лучший способ не потеряться.

Я увидела его прежде, чем услышала – потому что выучила каждую мелочь: как он стоит, как держит стакан, как его смех съедает паузы. Он шёл по краю огней, слегка покачиваясь, бутылка пива в руке отражала гирлянды, а компания за ним шумела так, будто пыталась заглушить собственные

мысли.

Сначала я просто наблюдала – как за фильмом, в котором уже знаешь конец. Он сделал два неспешных глотка, откинул голову и, словно проверяя сцену, осмотрелся. Его глаза-огни нашли меня и задержались; на секунду что-то внутри меня дернулось, как старый рычаг, – и я поняла, что всё ещё реагирую на этот взгляд.

Джеймс заметил мой ступор, улыбнулся по-своему – уже тихо, по-баристски: заботливо, не навязчиво.

– Ты в порядке? – спросил он, как будто предлагал сверху ещё кофе.

– Да, – ответила я. И тут же скрывала правду, потому что правда выглядела бы слабо: он смотрит. И мне это не нравится.

Я шла плечом к плечу с Наей, но взгляд мой выскользывал к нему снова и снова. Он смеялся, рассказывал чью-то историю, и в этот смех вкралась игра – лёгкое касание плеча девушки в красном платье, наклон, полушепот. Он не флиртовал театрально – скорее легко, привычно, как тот, кто тренировался быть центром. И именно в этой лёгкости была соль: я понимала, что для него это – игра без последствий. Для меня же любая такая игра оставляет след.

– Он пьян? – спросила Ная тихо рядом, и в её голосе был и страх, и интерес, и вопрос, который всегда задают тем, кто смотрит в пропасть.

– Немного, – выдавила я. – Но это не пьянство. Это – его

способ быть видимым.

Джеймс подвинулся ближе, как будто его присутствие могло закрыть пространство между мной и тем взглядом.

– Если он будет приставать – я вмешаюсь, – сказал он ровно, и его слова звучали как обещание, а не угроза.

Я улыбнулась, но улыбка была пленительной и натянутой: не хочу сцен, не хочу объяснений. И всё же внутри – как будто кто-то поставил весы: одна чаша – спокойный вечер, плед, Наина забота; другая – этот тёплый, опасный центр, к которому я тянусь, не желая и желая одновременно.

Он подошёл ближе, но не ко мне – к своей группе. Улыбнулся кому-то, пошутив так, что та засмеялась и прикоснулась к его руке. Это было так незначительно внешне, но внутри меня раздался длинный, тонкий удар ревности. Ревность – уродливая, нелепая, стыдная зверушка – прыгнула на грудь и зажала лёгкие.

– Ты хочешь, чтобы я остался? – спросил Джеймс, и в его голосе слышалась настоящая забота.

Я захотела ответить «да», потому что безопасно – спрятаться за его плечом. Но что-то в горле отказывалось. Я не хотела прятаться, я не хотела выбирать чью-то защиту как замену собственному голосу.

– Нет, – сказала я, и голос вышел не хлипким, а ровным. – Мне нужно пройтись одна.

Ная сжала мою руку, глаза её были полны поддержки, но и понимания.

– Хорошо, – прошептала она. – Я буду рядом, не уходи далеко.

Я отошла чуть в сторону, затем в сторону ещё, пока шум не стал наполнять пространство позади меня, а впереди осталась только лента света и мокрый песок. Каждым шагом я пыталась убирать от себя те острые ощущения, которые он пробуждал – ту самую странную смесь боли и притяжения, что будто липла к коже. Волна обдавала ноги холодом, ветер приносил запахи – йод, пиво, перегретый пластик фонариков – и в этой мешанине было немного свободы: природа не требовала ответов.

Но даже сдалека я слышала его смех, чувствовала, как он переходит на другие темы, как переходит к другим девушкам. Он ласков с ними так же легко, как и с друзьями, и это было хуже всего. В его прикосновениях не было обещаний – только свет, брошенный на мгновение, а затем забранный обратно. Мне становилось горько: я испытывала жалость к себе и к нему одновременно. Жалко меня, потому что мне больно видеть, как он отдаёт тепло без остатка; жалко его, потому что он, возможно, тоже прячет что-то, но делает это, разбрасываясь вниманием.

– Он делает это специально, – пробормотала я самой себе, как будто объяснение могло облечь мою боль в разум. Но разум не успокаивал: он только добавлял вопросов. Что я для него? Мишень? Пустая сцена? Или чего-то большего я сама ещё не осознала?

Я шла дальше, пока не осталось ни одного знакомого силуэта. Песок шуршал под моими ногами, а волны то и дело отбирали следы, словно избавляли меня от лишних доказательств. Ветер разбивал музыку на фрагменты, и эти обрывки приходили ко мне как фрагменты чужой жизни – весёлые, отчаянные, чужие.

«Я хочу идти одна», – повторила я про себя, и в этом повторе было не бегство, а попытка понять: дать себе место переварить ревность, найти границу между «мне больно» и «я не потеряюсь». Сердце билось тяжело, но шаги становились ровнее. Я знала одно: прогулка по побережью – это не убежание. Это маленькое расследование собственной хрупкости.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.